

АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН

РАЗИН

СТЕПАН. ТОМ

1

Россия державная

Алексей Чапыгин

Разин Степан. Том 1

«Public Domain»

1924-1927

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Чапыгин А. П.

Разин Степан. Том 1 / А. П. Чапыгин — «Public Domain»,
1924-1927 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02992-9

Алексей Павлович Чапыгин (1870—1937) — русский советский писатель; родился в Олонецкой губернии (ныне Архангельская обл.) в бедной крестьянской семье. В юности приехал в Петербург на заработки. Печататься начал в 1903 г., немалую помощь в этом ему оказали Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. В 1913 г. вышел его сборник «Нелюдимые». За ним последовал цикл рассказов о таежниках «На Лебяжьих озерах», в которых писатель рассматривал взаимоотношения человека и природы, а также повесть «Белый скит». После Октябрьской революции увидели свет две книги биографического характера: «Жизнь моя» (1929) и «По тропам и дорогам» (1930). Последние два десятилетия жизни писателя были отданы исторической прозе. В течение октября 1926 — января 1927 г. он написал исторический роман «Разин Степан», оказавший значительное влияние на развитие жанра отечественного эпического романа. В 1935—1937 гг. были опубликованы четыре части нового романа Алексея Чапыгина «Гулящие люди». В первый том этого издания вошли первая и начало второй части исторического романа «Разин Степан», в центре которого — судьба Стеньки, казацкого сына, бунтаря и народного «водителя». Яркое воссоздание русской старины, широкое использование фольклора характеризует творческую манеру самобытного русского писателя.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02992-9

© Чапыгин А. П., 1924-1927

© Public Domain, 1924-1927

Содержание

Часть первая	6
Москва	6
Соляной бунт	25
Войсковая старшина и гулебщики	31
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Алексей Павлович Чапыгин

Разин Степан

Часть первая

Москва

1

Бесконечным числом ударов в чугунную доску Москва вторила у боярских и купеческих домов часовому бою Спасских ворот. Часы пробили, но в сумраке часов не видно было. Светились иногда фонари; стучали копыта лошади: то проезжал боярин. В конце лета сумрак густел, часто перепадали дожди. Оттого по кривым и черным улицам полз туман. Местами улицы выстланы тесаными бревнами, отпотевшими и скользкими, словно в черном мыле.

Если где шел человек, то с подорожной бумагой и фонарем. Изредка чернели фигуры стрельцов, осторожно двигавшихся на смену караула в Кремль, с бердышами на плече.

– Дьявол, а не путь! Сколь раз в море бывал, а тут слеп; ужель не попаду? – ворчал человек в бараньей шапке, в длиннополом казацком жупане и шагал со звоном подков, иногда скользил, спотыкаясь о дерево. – Сатана! – он наткнулся на поперечное бревно-колоду, загородившее улицу.

– Ты, должно, в Земском приказе не был? – окликнул человека сторож.

– Я ваших порядков московитских не ведаю, вот дырье в башке умею сверлить! – сверкнул пистолет.

Сторож отшатнулся, а человек, согнув широкую спину, пролез под колоду, выпрямился и спешно пошел дальше.

Напуганный пистолетом сторож опомнился, крикнул:

– Черт! Чтоб те ноги, ребра изломили...

Подошел другой:

– Ты пошто пропустил?

– Да вишь, шиши со Пскова по Москве бродят, должно, воровской козак, – с пистолетом, и сабля.

– Ой ты! Сговорился бы: кого ежели ограбит, чтоб доля нам.

– Спужал, трясца его бей! Глаза горят, как у волка.

– Эх ты, баба столетняя!

Посредине обширной площади, бесконечной от тумана, на толстом столбе с образом, глубоко врезанным в дерево, мигал огонь негасимой лампы сквозь слюду, вставленную в узорчатую раму. По земле расплывались тени двух человек, а у столба недалеко чернели две фигуры караульных стрельцов. Опершись на обухи бердышей, стрельцы, видимо, дремали под монотонный, жалобный голос, исходивший от земли:

– Ой, батюшки! Могильные черви точат мою грудь и губят за что меня судьи неправильные?! Да ведь муж-от мой аспид был! Под ногти мне тыкал иглы каленые... Волосьев половину выщипал. Сам порченой, и жонку ему оттого не надобно, оттого и мучитель был!..

– Ага! – Человек в казацкой одежде глянул по земле, увидел зарытую по плечи женщину с растрепанными волосами.

От звука шагов один стрелец поднял голову:

– Эй ты, человече!

Он повернул бердыш топором к земле и крепко взялся за рукоятку.

– Кой бес тебя несет сюда?! – крикнул второй.

– Свой я вам! Чего бьете сполох?

– Есть вас своих!

– Свой, соколы! Выпить вам ташу.

– Что ты за человек?

– Видать, заезжий. Там ужо вспорют – узнаешь, за какими песнями в Москву ездят.

– Разберемся!

Человек, сдвинув баранью шапку на затылок, вытащил из-за пазухи глиняную посудину.

– Оно не худо пить, только, мотри, не отравное?

– Пошто мне вас изводить?

Стрелец приложился к горлышку посуды, другой, жадно причмокнув, сказал:

– Оставь, не все тяни!

– Ух, пей, брат! Не на кружечном, без уловной деньги¹.

– Ой, тошненько-о! Не видать младеньке боле ясна солнышка-а... калена-бела месяца-а!

– Убила мужа, дак молчи, чертова жонка! – крикнул стрелец.

Человек в казацкой одежде сказал:

– Други, а може, муж стоил того?

– Кто спорит, – може, и стоил, да дело не наше!

– Чего сам не пьешь?

– Хватит и мне, еще есть.

– Давай, парень, коли што, другую!

– Да уж зачал чествовать, не скупись, а то, вишь, туман, знобит...

– Лето нынь скудное – дождей, дождей...

– Натe, дуйте!

Выпивая, стрельцы рассуждали:

– И как ты, детинушка, не боишься ходить?

– Молодой, вишь, да зубастой!

– У нас на вольном Дону никого не бояться.

– Мы от дедов стрельцы, да того...

– Боитесь?

– Не так чтобы...

– Ино не на вас ли, братья-соколы, бояре воду возят?

– Ужо время приспееет – тряхнем бояр...

– До поры в терпенье!..

– Ой, а долга ли та пора?

– При-и-дет!

– Мы и нынче ни черта не боимся!

– Не боитесь?

– Не...

Один из стрельцов ударил себя кулаком в грудь.

– Глянь на меня, вольной детина, вот я не боюсь ни сатаны, ни патриарха, ни бояр...

– Ой ли?

– Вот бог – и хрест!

¹ Уловная деньги – плата за водку в кабаке; иначе – напойные деньги.

– Ну, брат-сокол, хвалишься!

– Не хвалюсь, башка!

– А чем докажешь зарок?

– Чем хошь!

Стрельцы захмелели.

– Не боитесь, так отроем эту жонку, в кабак сведем, сами выпьем и ее обогреем.

– А, пропади все, – отроем!

– Не, то, детина, не ладно! Какие же мы сторожи?

– Вот, братья-соколы, и не боитесь, а трусите!

– Нет, тут честь стрелецкая горит!

– Что тут горит? К жонке в сторожи приставили! Честь!

– А и то правда, отроем!

– Сами куды?

– В кабак!

– Откопаем жонку!

– А чем?

– Эво! Бердыши в руках, да я саблей подмогу.

– Мочно!

– Рой!

Подошли, отрыли женщину и за руки выволокли из ямы.

– Ена, парень, нагая?

– Ништо! Обряжу в жупан, сам пройдуся в зипуне.

– Держи одежду, жонка!

– Голова у детины, хошь в попы ставь!

– Э-эй, черти-и!

Голос зычно плыл по площади.

– Ой, перекаати-поле, – пятидесятник!

– Батоги нам!

– Кнут! Чего делать, в обрат копать жонку? Увидит.

– Не копать, соколы: вы жонку пасите, я с боярскими детьми хорошо лажу.

– Иди, детинушка, – веди сговор, угомони черта!

– Э-эй, стрельцы!..

В ответ шаги и голос:

– Тут я!

– Ты тут, драный козел твою перепечу! А где другая сволочь?

– На месте стоит!

– А ты, щучий сын, пошто без бердыша, пошто не в сукмане?

– Сабля при бедре, – зипун на плечах!

– Вон ты что-о?! Эй, стра-жа-а!..

В сумраке сверкнуло лезвие сабли. Слово «стража-а» не окончено. Тело начальника осело к земле и распалось на два куска.

Детина вернулся к стрельцам.

– Куды он делся? – спросил один.

Другой засопел и громко, как бы про себя, сказал:

– Так-то не ладно!

– Чего не ладно?

– Начальника посек! Понял? Мы в разбое...

Другой, еще более хмельной стрелец захихикал, закашлялся, потом отдышался, сказал:

– Начали сечь, – туды ему, сатане, и дорога! Дай посекем в куски!..

Приволокли подтекающее кровью половинчатое тело начальника к огоньку образа.

– Матерый, черт! И как ты его, вольной, мазнул? Не всяк мочен такое...

– Одежду вниз! Секите его на куски да в яму за-мест жонки – и в кабак.

– Вот те хрест, в попы тебя, козак, – голова-а!

– Дальше попа не видал? Я, может, в патриархи гляжу!

– Хо-хо-хо. Сатана-а!

– В па-три-архи-и?!

Языки и руки стрельцов худо слушались. Казак, как говорил, сделал все. Пошли.

Сторожа на росстанях улиц снимали перед ними бревна колоды. В иных местах отпирали решетчатые ворота, спрашивали:

– Куды, служилые?

– Воров в Земской приказ!

– Мы сами воры-ы!

– Чого рот открыл до дна утробы? Тише-е!

– Начальника-то, а-а? Кровь на тебе, и я в кровях...

Казак остановился:

– Вам, братья-соколы, дорога на Дон, утечете, – на Дону много вольных сошлось, – там рука боярская коротка.

– А ты?..

– Я оттудова и туды приду!

– Врешь!

– Давай, Дема, поволокем его с жонкой в Разбойной?

– В Разбойной? Пойдем! Руки, вишь, у меня в крови...

– Вот вам еще водки! Пейте, загодя спать, а утром знать будете, что делать.

– Водку? Давай!

– Дуйте из горлышка!

Падая и подымаясь, с лицами, замаранными кровью, стрельцы пошли вдоль улицы. Казак потянул одетую в жупан женщину в переулок, выглянул из-за угла. Стрельцы про них забыли – шли, падали и, поднимая один другого, шли дальше.

– Веди, жонка! Спасайся от могилы! – плотнее запахивая женщину в жупан, сказал казак.

Женщина дрожала, едва держалась на голых ногах, черных от грязи и холода. Сверкнули белым жестяные главы многочисленных церквей. Где-то зазвонили. Загалдел народ; на ближайших рынках, словно на пожаре, зашпорили и закричали женщины, торгуя холст и нитки. Берстовые и тесовые крыши на неопрятных домишках все яснее и пестрее выделялись.

– Будь крепче! Идем, кабаки отперли.

– Иду, голубь-голубой... иду, а тяжело идти...

2

Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь... Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе с заплеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела желтая бумага с черными крупными буквами. В стороне в железном подсвечнике на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:

«По указу царя и великого князя Алексея Михайловича Всея Руси и Великая и Малыя – питухов от кабаков не отзывати, не гоняти – ни жене мужа, ни отцу сына, ни брату, ни сестре, ни родне иной, – покудова оный питух до креста не пропьется».

Казак по-особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.

Казак высматривал истцов². Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:

– Косушку и калач!

Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддержал ее, но жупан распахнулся, и голое плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач, густо обвалянный мукой.

– Где экую откопал?

Женщина вздрогнула и, схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:

– Пропилась, – лихие люди натешились да раздели... Подобрал, вот, вишь, согреваю.

Целовальник сощурился, недобрым голосом прибавил:

– Спаси бог! Житья не стало от лихих людей. Почесть что ни ночь Москва горит...

Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах окна чирикали воробьи, слышался звон и громыхание каких-то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли.

– Немчин опять на государев двор пушку тянет...

– Молить надо: Кукуй³ – подь на Кукуй!

– А не скажу того – кнута пробовал! – шутили в глубине кабака у двери в прируб на бочках огромных и пузатых оборванцы-питухи. Они сидели в обнимку с женщинами. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:

– Драться, жонки, льготнее на улице!

– А ты там стой! Она у меня Микешку отбила, а Микешка мою кикую⁴ спер...

– Ой, ой! Да она, вишь ты, не посацкая жонка?

– Матренка-то? Она, ведомо всем, кабацкая боярыня!

– Ха-ха-ха!

– А кика твоя с жемчугом аль с венисами⁵?

– Кика у меня от бабки!

– Знаю теперь – ха-а-а-рошая... Тут, вишь, браганы, на торгу юродивой Гришка-гроб шатается, так он Матренкиной кике непочетное место нашел: носит в портках, а зовет – килой!

– Хо-хо-хо!

– У, ты, образина нехрещеная!

Бочки лежали, иные торчали стоймя, люди за ними были как за колоннами, выходили и вновь прятались. За бочками кто-то тренькал на струнах, а перед бочками тонконогий, черный, в длинном подряснике, подпоясанный рваной тряпицей, плясал поп-расстрига, гнусаво напевая:

Дьякон с дьяконицей,

² И с т ц ы – сыщики.

³ К у к у й – слобода, где жили немцы.

⁴ К и к а – женский головной убор.

⁵ В е н и с – гранат, драгоценный камень.

Дьявол с дьяволицей —
Пономарь кошку
Окалечил ножку!
Кошка три года хворала,
Все кота недолюбала,
Кот упал с тоски,
Перебил горшки!

Из-за бочек выскочил музыкант, тренькавший на ящике.

– У, ты! Сидел бы там.

Музыкант заюлил, завертелся, загребая рваными полами старой распашницы, видимо украденной у жены. В прорехе мелькал голый, замаранный смолой зад.

Музыкант колотил по ящику, дергал натянутые на нем струны, подпевал:

Как под ельницею,
Под березницею
Комар с мухой живет,
Муха песни поет.
Ой, спасибо комару,
Что пришелся ко двору,
Ой, спасибо мушке —
Прожужжала ушки!

– Эй, народ! Знаете, что ваши домры да сломницы⁶ сожгли по патриаршу слову и нынче настрого заказано в кабаках песни играть?

Музыкант перестал плясать, а кабатчику ответил:

– Ништо, батко Трифон! Москва погорит – сам спляшешь.

– Ах ты, голое гузно! Ужо истцы придут, по-иному заговоришь.

Кабатчик выскочил из-за стойки с плетью. Жонки-пропойцы дрались.

Казак потянул женщину за собой. Целовальник разогнал дерущихся, вернулся за стойку. Не видя казака и его подруги, пожалел, тряхнул бородатой головой, икнул, покрестил рот:

– Истцы не идут, а детину с жонкой упустил. Дитина с саблей... кровь на руках, воровские какие-то людишки...

Женщина двигалась будто во сне. Казак спросил:

– Ты, жонка, ведаешь ли путь?

– Веду, куда надо, голубь-голубой.

Они прошли по шаткому бревенчатому мосту через Москву-реку, пробрались закоулками Стрелецкой слободы. Женщина вела такими местами, где людей или не было, или редкий кто встречался им. Потом она повела старым пожарищем. Через доски с гвоздями, через обгорелые бревна и матицы шагали, спускаясь вниз до земли и вновь подымаясь на бревенчатый завал.

– Не верил тебе, что путь знаешь!

– Ой, голубь, да как мне его не знать? Истомилась я – сколь время высидела в яме. Голосила: «Прости, белой свет...» – и не упомяну, что голосила денно и ночью... Ой, да откуда ты сыскался такой? С неба, видно?..

– С земли!.. Дьяк на торгу вычитал, – глянул я, ведут нагую...

⁶ С л о м н и ц а – кривая труба.

В старинном тыне, обросшем кустами обгорелой калины и ивы, женщина отыскала проход. Согнувшись, пролезая, продолжала:

– Не домой тебя веду, голубь, там уловят, а здесь не ведают... Тут мои кои вещи хоронятся, да живет дедко шалой, скудной телом, юродивой...

– Иду, – vedi!

Казак задел лицом за плесень тына, рукавом жупана обтер худощавое, слегка рябое лицо.

Женщина спросила:

– Никак головушку зашиб?

– Замарался – грязь хуже крови...

За тыном широко разросся вереск. В самой гуще вереска стлалась почти по земле уродливая длинная хата. На пороге, на краю входа вниз, сидел полуголый старик-горбун. На грязном теле горбуна, обмотанном железными цепями, висел на горбатой груди железный крест. Горбун не подвинулся, не шевельнулся, но сказал запавшим вглубь голосом:

– Ириньца? С того света пришла, молотчого привела. А не прикажут ли вам бояры в обрат идти?

Он растопырил костлявые ноги, мешал проходу.

– Ой, не держат ноженьки! Двинься, дедко!

Горбатый старик подобрал ноги.

Казак с женщиной вошли в подземелье, в темноте натыкались на сундуки-укладки, но женщина скоро нашарила низенькую дверку, в которую пришлось вползти обоим. На глубине еще трех ступеней вниз за дверкой была теплая горница. Женщина выдула огонь в жаратке небольшой изразцовой печки особого лежаночного уклада. Казак стоял не сгибаясь, и хотя роста он был выше среднего, до потолка горенки еще было далеко.

От восковой свечи женщина зажгла лампадку, другую и третью, перекрестилась, сказала гостю:

– Да что ты стоишь, голубь-голубой? Садись! Вызволил меня от муки мученской! А воля будет лечь – ложись: там кровать, перина, подушки – раскинись, сюды никто не придет...

Сбросила его жупан на лавку и куда-то ушла голая. Устал казак, а в горнице было тихо, как в могиле. Скинув зипун, саблю и пистолет, столкнув с ног тяжелые сапоги прямо на пол, он задремал на перине, поверх одеяла.

Женщина, тихо ступая по полу туфлями, обшитыми куницей, вернулась – прибранная в синем из камки⁷ сарафани, в шелковой душегрее. Густые волосы ее смяты и вдавлены в сетчатый волосник, убранный жемчугом. Она подошла к кровати, тихо-тихо присела на край и прошептала, чтоб не разбудить гостя:

– Спи, голубь-голубой, век тебя помнить зачну... пуще отца-матери ты к моему сердцу прилип...

Казак открыл глаза.

– Ахти я, беспокойная! Саму дрема с ног валит, а тянет к тебе, голубь, прийти глянуть...

– Ляжь!

– Кабы допустил лечь – лягу и приголублю, вот только лампадки задую да образа завешу.

– Закинь Бога! Не завешай, – с огнем весело жить.

– Ой, так-то боязно, грех!

– Грех? Мало ли грехов на свете? Не гаси, ляжь!

– Ой ты, грехов гнездо! Пусти-ко... Дозволишь обнять, поцеловать ино не дозволишь?

А я и мылась, да все еще землей пахну.

– Перейдет!

– Все, голубь, перейдет, а вот смертка...

⁷ Камка – шелк с бумагой.

- Эх, Ириньца! Ты – новой розбойной струг... Не попусту я шел за тобой.
- Родной, дай ты хоть ветошкой завешать Бога! Слаще мне будет...
- Молчи, жонка!

3

Проснулся казак от яркого света свечей. За столом под образами сидел голый до пояса юродивый. Женщина исчезла. Казак сказал юроду:

- Ты чего в красный угол сел?

Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил:

– Сижу на месте... В большой угол сажают попов да дураков, а меня сызмала таковым именем кличут.

- Ну, ин сиди, и я встаю! А где Ириньца?

- Жонка в баню пошла, да вот никак лезет...

Женщина вернулась румяная, пышная и потная, на ней был надет отороченный лисьим мехом шелковый зеленый кортель-распашница, под кортелем голубой сарафан, рубаха шелковая розовая, рукава с накапками – вышивкой из жемчуга.

- Проспался, голубь-голубой, мой ты – голубь!..

- Улечу скоро! – Гость встал, под грузным телом затрещала дубовая кровать.

– Матерой! Молодой, а вишь, как грузишь, – не уродили меня веком таким грузным, – проворчал старик.

– Я вот вина принесла да меду вишневого! А улетишь, голубь-голубой, имечко скажи, за кого буду кресты класть, кого во сне звать?

- Зовут-таки меня Степаном, роду я – издалече...

– Оденься-ко, Степанушка! Чья это кровь на тебе? Смой ее с рученок да окропи, голубь, личико водой студеной... А я на торгу была... Все проведала, как наших стрельцов, что у моей ямы стояли, истцы ищут: всю-то Москву перерыли, да не дознались... Жен стрелецких да детей на спрос в Земской приказ поволокли.

- Бойся, жонка! Тебя признают, худо будет...

– Ой, ты, голубь! Жонку в Москве признать труд большой – нарумянилась я, разоделась купчихой, брови подвела, нищие мне поклоны гнут, жонку искать не станут... Будто те собаки в яме съели... И меня бы загрызли, да стрельцы, спасибо, угоняли псов: «Пушай, – говорили, – помучится».

- Худо, вишь, на добро навело... – проворчал юродивый.

– И слух, голубь, такой идет: жонку собаки растащили, а начальник стрелецкий – вор, ушел сам да стрельцов увел. По начальнику, родненький, весь сыск идет... – Женщина говорила нараспев.

– В долгом ли обмане будут! В долгом – ладно, в коротком – тогда пасись... Ну, да сабля точена, елмань⁸ у ней – по руке, кто нос сунет – будет знать Стеньку...

– Ой, да что я-то? Воды забыла! – Женщина ушла, вернулась, шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода. – Умойся, голубь-голубой!

- Эх, будем гулять, плясать да песни играть! Ладно ли, Ириньца?

- Ладно, мой голубь, ладно!

- Вот и кровь умыл, – пропадай ты, Москва боярская!

– Уж истинно пропадай! Народ-от, голубь, злобится на родовитых, кои ближни царю, на Бориса Ивановича да на думнова дьяка Чистова, на Плещеева, судью корыстного: много народу

⁸ Е л м а н ь – утолщение на конце сабли.

задарма в тюрьме поморил. Плещеев-то царю сродни, а соль всю нынче загреб под себя – цену набил такую, что простому люду хоть без соли живи...

– Слыхал я это. У тебя, Ириньца, нет ли ненароком татарской одежины?

– Есть, голубь-голубой. С мужем-то моим – неладом его помянуть – одежиной разной в рядах торговали... Ужо я поищу в сундуках, да помню, голубь, что есть она, поганая одежина, и шапка, и чедыги⁹ мягкие с узором.

– Ты жонка толковая!

– Народ-то давно бы навалился на своих супротивников, только немчинов пугается, – немчин на зелье-пушки востер, а уж, конечно, немчин – не за народ!

– Ништо и немчин! Наливай-ка, жонка!.. Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет...

Пили, целовались, снова пили. Гость поднял высоко голову курчавую. Глаза его стали глубокими и по-особому зоркими.

– А ежели меня палачи, истцы да псы разные боярские искать зачнут, тогда, Ириньца, не побоишься дать мне сугреву у себя?

– Молчи, голубь-голубой! Укрою, а сыщут – и на дыбу за тебя пойду.

– Пьем-молчим, жонка!

– Сторговались – в сани уклались, – сказал юродивый. – Хмельным старика забыли тешить?

– Помним, дедо, помним!

В большой медный кубок юродивого казак налил меду.

– Вот оно то, что надоть: и сладко, и с ног валит!

– Ты бы, дедко, рубаху накинул!

– Эх, Ириха, под рубахой моей святости не видно, а я еще плясать пойду. Ты, паренек, когда о жонку намозолишь губы, а шея заболит от женских рук, поговори со мной.

– Ладно! – Гость придвинулся к юродивому.

– Дальной ли будешь?

– С Дона... У нас хлеба не пашут, рыбу ловят, зверя бьют и ясырь¹⁰ берут, торгуют людьми да на Волгу из Паншина гулять ездят... тем живут!

– А ты, гость-паренек, когда в атаманах будешь, не давай человека продавать...

– Пошто, дедко?

– Самого продадут... А клады искать любишь?

– Нашел, вырыл, вот, вишь, клад, – казак похлопал женщину по широкой спине.

– Этот клад поет в лад, а в лад не войдет, мороз по коже пойдет, – она у меня с норовом... Ты казну ежели золотую, жемчужную альбо серебряную похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, сиречь подосельному – о кринах черленных и белых...

– Любопытствую, дедо, скажи!

– Так вот чуй: есть скакун-трава, растет на надгробных местах, ростом высока, цвет голуб, кольцами; весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу, она сама раскрутится и скочит, а вертеть ее надо на поле: куда трава скочит, там огонь возгорится, тут и клад рой...

– Мой клад, дедо, вон на лавке лежит, – в чудеса я не верю, саблей добуду жемчуг, золото и жонку.

– Али тебе не сказывать дальше?

– Нет, ты говори – слушаю.

⁹ Ч е д ы г и – мягкие сафьяновые сапоги.

¹⁰ Я с ы р ь – пленник.

– Ну, так чуй! Есть трава хмель полевой, растет при болотах, на ей шишки желтые, только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике... Ежли истолкеш в порошок семя тех шишек да в вине ли, в пиве изопьешь, – сколь ни пей, пьян не будешь...

– Упомнить, дедо, потребно цвет тот, – люблю пить хмельное.

– Помни, гостюшко удалой, от многой той семени испитой человек в остатке бывает не хмелен, но зело буен и смел: в огонь, воду и на нож идет...

– Упомнить надо тот цвет: «растет при болотах, на нем шишки желтые...»

Женщина, выпивая чашу меду и опрокидывая ее пустую себе на голову, сказала:

– Иной раз на улице или в церкви дедко такое заговорит, что страшно: того гляди, истцы привяжутся и поволокут...

– Меня волокли да спускали, чтут за скудного умом... Чуй еще: есть трава, зовомая воронец, цветет на буграх, на брусничниках в густых лесах, мелка, зело тонка и видом чиста... Лапочки на ней и иглы зеленые, ствол суковатый, коленцами; на тое травине ягодки зеленые, когда и черные бывают... Пить ее отваром тому, кто кровию порчен, ежели у кого глисты, змеи, жабы и иные гады... Все из нутра утробы вон изгонит. А може, краше будет тебе о планидах сказать?

– Все, что знаешь, дедо, говори!

– Было время, шестикрыльную книгу я чел, жидовина Схари и иных мудрых речения и письма их еретичные, числа исчислял по маурскому счислению и по звездам, кои описаны, гадал, а вычитал я в тых книгах, что земля наша, кою чтут патриархи и иные отцы православия, яко долонь человеков, гладкой, – кругла, что небо будто бы не седми, не шти, не пять и не дву-три не бывает, что небо сие едино и земля наша кругла, а небо шар земли нашей объяло, справа, слева, внизу и вверху, что якобы земля наша вертится... Но мотри – сие говорю только тебе, ибо ты мне, как и Иринице, по душе пал... иным боюсь. В срубе сожгут мое худое телесо древнее, да огню его предать – не изошло тому время...

– Еретичный, умолкни! – крикнула женщина и застучала чашей по столу, из чаши полился мед...

– Буйна ты, Ириница, во хмелю зело буйна, – умолкаю...

– А я говорю: сказывай, дед! То, что попы претят говорить, надо говорить, и, может, большая правда в тех жидовинных книгах есть!.. Знать все хочу... хочу все иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной – к тому я иду и попов неправедных, как и бояр, в злобе держу.

– Знать все надо, гостюшко! – Юродивый был пьян, но, странно, во хмелю обострялся его мозг, и говорил он без запинки. Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая седая борода, звенели вериги на тощем коростоватом теле, а на горбе прыгал железный крест. – Надо знать – и вот за сие на костер готов идти, – знать все мысля!.. И может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна – тоже шар крутящийся, и шар сей ледяной... И звезды есть, гостюшко, величины необозримой, и каждая звезда – шар, и все... все оно вертится, сменяя свет тьмой и тьму светом, и ветры и бури...

– Горбун! Окунь столетний! Он – мой голубь-голубой. Степа, ты ведь мой?

– Твой, Ириница, – с тобой я твой!

– Снеси меня на постелю.

– Сиди!

– Снеси, – говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей могильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!..» Степа, снеси...

– Не вяжись, Ириница! Дед говорит, я хочу знать...

– Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет...

Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, снес, положил на кровать.

– Ляжь – побью!

– Бей! Люблю... бей, а побьешь – сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.

– Усни – приду скоро!

Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.

И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное; он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:

– Пляши, сатана!

Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:

Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана,
Голова на плахе,
Кровь на рубахе.
Мясо с плеч
Стали сечь.
Ой, щипцы да клещи,
Волоса да кожа,—
Неугожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ка, жилы тащат.
Чуешь? – кости трещат.

И тихо-тихо продолжал:

Две сулицы...
Три сафьянных рукавицы...
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной...
Чет ударов палача —
Бьют сплеча!
Сруб-от в мясе человечьем,
Тулово с увечьем...
Кости, кости,—
Ворон летит в гости,
Кровью политый воз,
Под пятами навоз,
Идут в кровь, как в воду,—
Честь сия от бояр народу!
Аминь...

– Дьявол! Худо пляшешь!.. – Гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:

Гей, Настасья,

Эй, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца
Принимай-ка молодца.
У тебя ль, моя Настасья,
У тебя ли пир горой,
Воевода под горой.
До полуночной поры,
Гей, точите топоры!..
Воеводу примем в гости,
Воронью оставим кости...
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!..

Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крикнул, доска распалась от удара – сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:

– Дедко, где звонят?..

Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:

– У Спаса, Ириньца!

По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.

Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы¹¹ и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:

– Оно еще есть, чем кружить голову и сердце бесить... – и робко сказал гостю: – Я, гостюшко, такие песни не мочен играть...

Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:

– Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным... Бьет та водка в человеке память.

Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал.

– Пала молонья, гром прогрянул...

Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валяные тупоносые уляди¹² прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.

– Эх, молодец молодой, грозен! Да не тот жив, кто по железу ходит, а тот, вишь ты, жив, кто железо носит... из веков так.

¹¹ Я н д о в а – большой низкий сосуд.

¹² У л я д и – полуваленки с разрезом спереди и со шнурками.

4

Сумеречно и рано. Перед Кремлем в рядах идет торг. Стоят воза со всякими товарами. Площадной дьяк с двумя стрельцами ходит между возов в длиннополой котыге¹³, расшитой шнурами; на голове бархатный клобук, отороченный полоской лисицы. Дьяк собирает тамгу¹⁴ на царя, на церкви и часть побора с возов – на монастыри: Звенят деньги.

Впереди рядов, ближе к Кремлю, палач – в черной плисовой безрукавке, в красной рубахе, рукава рубахи засучены – приготовился сечь кнутом вора.

Преступник в синих, крашенных портках, без рубахи стоит пригнувшись, дрожит... В ранней прохладе от тощего тела, вспотевшего от страха, идет пар. На впалой груди на шнурке дрожит медный крест.

– Раздайсь, люд! – кричит палач, бородатый парень, которого еще недавно видели приказчиком в мясных рядах. Он неторопливо сдвинул на затылок валяную шляпу, зажал в крепких руках, почерневших от крови, кнут и передвинул крепкую нижнюю челюсть: зашевелилась окладистая борода. Ворот рубахи у палача расстегнут, виднеется на широкой волосатой груди шнурок креста. – Ты, голец и тать¹⁵, спусти из себя лишний дух!

Палач шевелит кнут, распутывая движением руки на конце кнута кисть из воловьих жил.

– Тимм! Тимм! Тимм! – звенят в воздухе литавры.

Народ расступается, иные снимают шапки:

– Боярин!

– Царя с добрым днем чествовать!

– Эй, народ, – дорогу!

Через площадь проезжает боярин, черная борода с проседью. Боярин бьет рукояткой кнута в литавры, привешенные к седлу, лицо мрачное, на лице густые черные брови, из-под них глядят круглые ястребиные глаза; он в голубой бархатной ферязи¹⁶, от сумрака цвет ферязи мутно-серый, на голове клобук, отороченный соболем.

Боярина по бокам и сзади провожают холопы. Огонь факелов колеблется в руках челяди, мутно отсвечивая в драгоценных камнях ферязи боярина и на жемчугах, заплетенных в гриве коня.

– Воевода-а!

– То кто?

– Князь Юрий Олексиевич!

– Ен Долгоруков – тот?

– Тот, что народу не любит...

– С дороги, людишки!

Свищет кнут... После десяти ударов преступник шатается. Кровь густо смочила опушку портков.

– Стоя не осилишь – ляжь! – спокойным голосом, поправляя рукава распутившейся рубахи, говорит палач.

Преступник охрип от крика; он покорно ложится, ослабел и только шевелит губами. Бородатый дьяк с гусиным пером за ухом, обросшим волосами, как шерстью, с чернильницей на кушаке, считая удары, подал голос:

– Полно-о!

¹³ К о т ы г а – кафтан, только иного покроя и шире.

¹⁴ Т а м г а – сбор товаров.

¹⁵ Т а т ь – вор.

¹⁶ Ф е р ь з ь – одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата.

Подвели телегу. Помощник палача в черной рубаше, перетянутой сыромятным ремнем, поднял битого, взвалил на телегу. Преступник моргает слезливыми глазами и чавкает ртом:

– Пи-и-ть...

Палач делает шаг, не глядя, грозно кричит на толпу:

– Раздайсь! – и щипцами откусывает преступнику правое ухо.

Тот, не чувствуя боли, шепчет внятно:

– Пи-и-ить!..

Дьяк машет мужику в передке телеги, говорит битому:

– Не воруй! Левое ухо потеряешь...

– Поглядели бы, крещеные, что уволок-то парень! Курицу-у...

– Да, суды... тиранят народ!

5

Недалеко от битого места дерутся две бабы. У них в руках было по караваю хлеба. Теперь хлеб затоптан в песок, а бабы, сорвав с головы платки, таскаются за волосы, шатаясь, тычутся в толпу.

Дьяк со стрельцами подходит не торопясь. Бабы лежат, лежа, держат одна другую за волосы, плюются и языки высовывают.

– Эй, спустись, кошки!

Бабы не спускаются.

– Робята, разведите их дале розно да в зад коленом, – говорит стрельцам дьяк и идет в толпу.

Он обошел ряды возов и, не видя того, с кого можно взять тамгу, исчез. Толпа шатающихся праздно прибывает. В толпе появился татарин. На худощавом рябом лице горят зоркие глаза; татарин – в синей ермолке, в серой чалме, в желтом бархатном зипуне, в зеленых чедыхах с загнутыми носками, с мешком в руке.

– Купим соли, урус? Купим соль! – и трясет мешком.

Народ лезет к татарину, покупая, дивится, что дешево:

– Да где ты добыл, поганый, соль?

Татарин запускает в мешок большие руки, пригоршнями мерит соль, а берет за фунт грош...

– У нас на Казань нет бояр, нет Морозов, нет Плещеев, на Казань соль три пригоршни – грош... А был на Казань князь, татарский князь, соль дорожил – народ не давал, рубили ему башка, соль дешев стал!..

– Православные, ино татарин правду сказывает!

– Кабы Плещееву завернуть голову, то соль была бы...

– Морозову...

– Морозову заедино!

К татарину протолкались сквозь толпу два человека в длинных сукманах, в черных, похожих на скуфью шапках:

– Пойдем-ка, поганый, с нами!

Татарин на всю площадь крикнул:

– Гей, люди московские! За добро и правду к вам меня истцы берут.

– Пошто? Где истцы?

– Бей псов боярских!

– Гони! Лу-у-пи сатану-у!

Один из истцов быстро выдернул из-под полы сукмана тулумбаз¹⁷, но татарин не дал ему ударить сполох. Пистолетом, спрятанным в длинном сборчатом рукаве, стукнул по голове истца, – черная шапка вдавилась в череп, истец упал. Другой побежал, призывая стрельцов, но его схватили тут же и, свалив, забили до смерти сапогами. Синяя тюбетейка и повязка свалились с черных кудрей татарина...

Народ теснился на площадь. Ловили и избивали истцов, – истцы исчезли.

Кто-то закричал:

– Поганый ты, свой ли, все едино – веди на бояр!

Смуглый, в черных кудрях, в татарской одежде, крикнул на всю площадь:

– Народ! Гож ли я в атаманы?!

– Гож! Гож!

– Пойдем, – веди-и!

– Веди! Будет им нас грабить!

– Имать Морозова-а!

– Молотчий, веди-и!..

– К тюрьме-е! Колодников спустим.

– Бояр солить – идем!

6

По Москве во всех больших церквах бьют сполошные колокола. Воеет медный звон, будто тысячи медных глоток.

– Зашевелились попы-ы, на Фроловой башне звон!

– Не бойсь! Стрельцы с нами-и, пушай фролят...

– Морозов усохутился¹⁸ – сбежал!

В Кремле трещит прочное резное крыльцо боярина Морозова. Серой лавой лезет толпа с топорами, с кольем, с палками. Крепко запертую дверь выдавили плечами. В толпе изредка мелькают лица холопов Морозова.

В расписной сумрачной прихожей с окнами из цветной слюды встретил грозную толпу седой дворецкий в синем доломане, с протазаном¹⁹ в руках.

– Куда, чернядь? Смерды, чего надо? – и размахивал неуклюжим оружием. Протазан задевал за стены, плохо ворочался в старых руках. Старик отчаянно закричал: – Боярыня! Матушка! Пасись беды...

– Брось матушку, пой батюшку!

К старику подскочил крепкого вида ремесленник в сером фартуке, ударил по древку протазана коротким топором, и оружие, служащее для парадов, выпало у дворецкого из рук.

– Пе-ес!

Старик стоял у дверей в горницы, растопырив руки, мешал проходу. Тот же человек схватил старика поперек тела, выбежал с ним на крыльцо и сбросил вниз. Толпа хлынула в горницы. От тяжеловесного топота дрожал пол, скрипели половицы, раздался хряст дерева, стук топоров. Вырвали окна; резные рамы трещали под ногами, слюда рвалась, липла к сапогам.

– Узорочье – товарищи-и!

Разбили крышку ларя, окованного серебром, но там оказались кортели, кики, душегреи. Пихали в карманы, роясь в ларе, боярские волосники, униженные жемчугом и лалами²⁰.

¹⁷ Ту л у м б а з – род бубна с вогнутой внутрь чашечкой, обтянутой пузырем.

¹⁸ У с о х у т и л с я – спрятался.

¹⁹ Д о л о м а н – кафтан; п р о т а з а н – особенного устройства топор на длинной рукоятке

²⁰ Л а л – яхонт.

– Во где наша соль!

Все из ларя выкидали на пол, ходили по атласу, а золотую парчу рвали на куски. Кичные очелья²¹ били о подоконники, выколачивая вены и бирюзу.

– Соли, бра-а-таны!

Наткнулись на сундук с кафтанами, ферязями – стали переодеваться: сбрасывали сукманы и сермяги, наряжались наскоро, с треском материи по швам, в ферязи и котыги. Сбрасывали с ног лапти и уляди, обувались в чедыги узорчатого сафьяна, а кому не лезли на ноги боярские сапоги, швыряли в окно:

– Гришке юродому гожи!

Одевшись в бархат, ходили в своих валяных шапках и по головам лишь имели сходство с прежними холопами и смердами. Одни переоделись, лезли к сундуку другие:

– Ай да парень! Одел боярином!

– Отаман – в парчу его обрядить!

– Тут ему коц с аламом²², с кружевом!

– Не одержет – чижол!

– Эй, ты! Как тебя, отаман?

– Одейся!

– А ну, нет ли там турецкого кафтана?

– Эво – бери-и! На ище колпак с прорехой, с запоной.

– Пускай буду я, как из моря, с зипуном...

Иные в толпе не переобувались, ходили в своих неуклюжих сапогах, – то были осторожные:

– Ежели бежать надо, так одежду кинуть, а сапоги свои...

Херувимы, писанные по золоту среди крестов, спиралей, голубых и красных цветов, неподвижно глядели на гостей, не бывалых раньше в покоях царского свояка.

– Эй, други-и! Винца ба!

– Соскучал за солью ходить, хо-хо-хо, бражник...

– Сыщем вино-о!

– Гляньте – птича!

– Диковина – лопочет по-людски!

– На кой ее пуп! Не диво, кабы сокол!

Иные обступили клетку тянутого серебра, совали в клюв зеленому попугаю заскорузлые пальцы:

– Долбит, трясогузая!

– Щипит!

– Бобку нашли, младени? Шибай на двор!

Выбросили клетку с птицей в окно. Коротко сгрудились перед тяжелой дубовой дверью с узорами из бронзы на филенках, нажали плечами – не поддается.

– Подай топоры!

Стук – и вылетели дубовые филенки.

– Тяни на себя-а!

Дверь сломана, – хлынули в горенку, мутно сияющую золотой парчой вплоть до сводчатого потолка. Окна завешены. На вогнутых плафонах, с узорами синими и красными, фонари из мелких цветных стекол на бронзовых цепочках; в фонарях горят свечи. Под балдахином из желтого атласа кровать, на кровати – растрепанная и очень молодая женщина.

– Сестра царицы!

²¹ О ч е л ь е – перед кики (кокошник); в праздники привязывалось отдельно с жемчугами.

²² К о ц – плащ старинный; а л а м – бляха.

– На пуп нам ее, – тут девки есть!

На низких табуретах, обитых алым бархатом, в головах и ногах боярыни – две девицы, обе русые, в голубых сарафанах. Толпа смыла обеих. Скоро и буйно сорвала с девиц шелковые сарафаны, сбороздила заскоруждыми руками девичьи венцы с жемчугом, растрепала волосы. Больная боярыня с усилием поднялась над подушками и слабо крикнула:

– Не надо!

– Хо-хо-о! Не будь ты сестра царицы, мы б тя...

Девицы онемели от ужаса, стиснув зубы и закатив глаза, вертелись в грубых руках, падали, но их подхватывали. Тяжелый вошел в горенку, отбросил занавес окна – летнее солнце хлынуло в сумрак. Раздался голос, слышанный ранее на всю площадь:

– Зазвали в атаманы – слышите слово! Девоч насилить – или то работа? Сечь топорами – наша правда!

Послушались голоса. Девиц помятых, растрепанных кинули на кровать боярыни, как снопы соломы. Шиблись обратно в другие покои – срывали со стен многочисленные образа, разбивали киоты, сдирали серебряные ризы с лалами и жемчугом. Доски образов кидали в окна.

Атаман остался в спальне. Тяжело ступая, шагнул к кровати. Больная боярыня, закрывшись до подбородка атласным одеялом, сидя на постели, дрожала.

– Слушай! Я тебе грозить не стану – скажи добром, где узорочье?

Морозова подняла голубые глаза и снова с дрожью зажмурилась:

– Отведи глаза, не гляди!

– Глаза?

Он шагнул еще ближе, почти вплотную, и слышал, как, забившись под одеяло, всхлипывали девицы. Одной рукой приподнял Морозову за подбородок, другой тяжело погладил по мокрому от недуга и страха волосам, но в голове его мелькнуло: могу убить?

– Не боярин я... Огнем пытать не стану – добром прошу...

Чуть слышно боярыня сказала:

– Подголовник... тут под подушками...

– Ино ладно!

Он выдернул тяжелый подголовник, отошел, стукнул, отвернувшись к окну, ящик о носок сапога и, выбрав в карманы драгоценности, пошел, не оглядываясь, но приостановился, слыша за собой голос боярыни:

– Не убьют нас?

Ответил громко на слабый голос:

– Нын же никого не будет в хоромах!

– Не спялят?

Сказал голосом, которому невольно верилось:

– Спи... не тронут!

За дверями спальни Морозова еще раз слышала его:

– Гей, голутьба! Вино пить – на двор.

Терем вздрогнул – по лестнице покатилося тяжелое. Со двора в окна долетал отдаленный громкий раскат голосов, стучали топоры, потом страшно пронеслось в едином гуле:

– Вин-о-о!

Под землей, в обширном подземелье, подвешены к сводчатому потолку на цепях сорокаведерные бочки с медами малиновыми, вишневыми, имбирными. Сотни рук поднялись с топорами, били в днища:

– Шапки снимай!.. Пьем!..

Долбились, прорубались дыры в доньях, из бочек забили липкие душистые фонтаны.

На полу стало мокро, как в болоте; потом хмельное мокро поднялось выше.

- Шли за солью – в меду тонем!
- Мокро было уже по колено.
- Бу-ух! Бу-ух!
- Энто пошто?
- Бочки с водкой лупят!
- Опять голос хмельной и басистый:
- Уторы не троньте-е! Днища бей, дни-и-ища!
- Пошто те днища-а?..
- Днища! Или брюхо намочите, а в глотку не попадет!
- Должно, товарищи, то бондарь, – бочку жаль?
- Бей! Хватит водки-и...

В подвале появились люди в серых длинных сукманах, в черных колпачках, похожих на поповские скуфьи.

- Робяты-ы! Истцы zde...
- Бей сотону-у!

Ловили подозрительных и тут же кончали. Какой-то посадский по бедности носил сукман, шапку утопил, стоял на коленях по груди в хмельном пойле, крестился, показывая крест на шее и руки грубые.

- Схо-о-ж, бей!
- Царева сотона вся с крестами!

Бродили по подвалу, падали, расправлялись топорами, но их расправа кончилась скоро: зеленым огнем запылала одна бочка сорокаведерная, потом другая, тоже с водкой, третья, четвертая, и зеленое пожарище поползло по всему подвалу, делая лица людей зелено-бледными.

- Истцы жгут?
- Лови псов!
- Спасайсь, тащи ноги-и!

Вылезли на двор, но многие утонули и сгорели в подвале. Толпа живых была сильна и буйна. Нашли карету, окованную серебром, сорвали золоченые гербы немецкой чеканки.

- Морозову от царя дадено!
- Царь бояр дарит колымагами, а нас жалует столбами в поле!
- Козой да кнутъем на площади.
- Кру-у-ши!

Изрубили карету в куски. Беспокоясь, пошли из Кремля.

- Убыло нас.
- Посады зазвать надо!

Под горой у Москворецкого моста встретили новую толпу.

- На-а-ши здесь!

Тут же под горой стояла кучка людей в куцых бархатных кафтанах, в черных шляпах с высокими тульями, при шпагах. На желтых сапогах длинные кривые шпоры. Кучка людей говорила на чужом языке, показывая то на толпу, то на кабаки, где трещали разбиваемые двери и звенела посуда.

- Робяты-ы, побьем кукуя!
- Царю жалятся, а сами живут за нас!
- За них немало людей били кнутом!
- Меня за кукушу били!
- Меня тоже-е!
- Эй, топоры, зачинай!

Грянул голос:

- Или я не атаман? Народ, немец не причинен твоей беде... Мстите над боярами!

- Правда!
- Подай судью-у!
- Плещея беззаконного!
- Их, братаны, Гришка юродивой выметал, метлы ходил – давал, – «чисто мести по морозу плящему»²³.
- Чистова дьяка би-и-ть!
- С головой, урод горбатой!

²³ П л я щ и й – трескучий, от слова «плясать».

Соляной бунт

1

Набат над Москвой ширится, полыхают над старым городом красные облака; жестяные главы на многих церквах стали золотыми.

– Стрелы тоже по нас!

– Их тоже жмали – метятся!

Нашли палача. Палач не посмел перечить народу.

– Ходил твой кнут по нас – нын пущай по боярам ходит!

Палач пошел в Кремль; за палачом толпа – кто потрезвее. Стрелы – те пошли во хмелю.

– Подай сюда Плеще-е-ва-а!

– Самого судить будем!

В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца.

На обширном крыльце с золочеными перилами стоял матерый ширококостый молодой царь в голубом каbate с нарамниками²⁴, унизанными жемчугом. Близ царя – воевода Долгорукий – в черной бороде проседь, из-под густых бровей глядят ястребиные, желтые глаза. Князь одет по-старинному в длиннополном широком плаще-коце, застегнутом золотой бляхой на правом плече. Сзади царя – кучка бояр.

Перед царем, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползал на коленях пухлый боярин с пухлым лицом и сивой бородой. Черная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч.

– Государь! Государь! Служил ведь я тебе и родителю твоему – себя не жалел! Попомни услуги, – пошто даешь меня на поругание холопам? Гож я, гож еще! Тоже и буду служить псом верным и службу где дашь – туда отъеду, и какую хошь службу положи...

Царь отвернулся, молчал.

Сказал Долгорукий резко и громко:

– Вор ты, судья! За службу кара.

– Бью и тебе челом, князь Юрий!.. Молви за меня государю слово, за душу мою постой, а я...

Круглые глаза князя глядели сурово на судью.

– Лазал перед государем с оговором – нын «молви»!

– Ой, князь Юрий! Пошто мне тебя хулить, ой, то ложь, князь!

– Подай сюда Плеще-а!

Долгорукий молодо и звонко сказал:

– Палача сюда!

Плещеев, подавленный, уткнув лицо в полу однорядки, плакал.

На крыльцо поднялся палач. Облапив, понес Плещеева вниз по ступеням, но обернулся, спросил:

– Провожатый дьяк – кто?

– Казни судью! Вина его ведома.

Долгорукий отошел в глубь крыльца.

– Бояре, родные мои, кровные, молю, молю, молю! – закричал Плещеев и, встав на ноги, упирался.

Стрелы, помогая палачу, пинали Плещеева.

²⁴ Каба́т с на́рамниками – царская верхняя одежда с наплечниками.

Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал:
– Допустим смерда к расправным делам – не то увидим!

Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали, а в то время на крыльцо по-кошачьи мягко вбежал человек в сером сукмане, пал перед царем на колени, заговорил, кланяясь:

– Не осуди, государь! Дай молить слово...

Царь попятился, но сказал:

– Говори!

– Не стрельцы мутят народ, государь, а пришлый детина, коего рода – не ведаю; примечаны его – ширококост, лицо в шадринах малых, голос – как медяный колокол!

– Уловите заводчика!

Царь отошел к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уцепили за полу, из-под полы истца вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбаз. Старый боярин в синей котыге с тростью в руке держал истца за полу, шел с ним вниз и говорил:

– Уловите заводчика, справьте государю угодное... В кабаках водку огнем палите – к водке бунтовщик липнет. Да примечайте которого...

– Наших, боярин, много посекали бунтовщики в погребках боярина Морозова...

– А за то и посекали, что дураки! Дураков и бить. Киньте сукманы, шапки смените, людишками посадскими да смердами оденьтесь...

Истец хотел идти, но боярин держал его. Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил:

– Ежели ты, холоп, еще раз полезешь на царские очи, то будешь бит батогами, язык тебе вырежут воровской! Твое есть сей день счастье, что палач поганил, по слову Юрия князя, крыльцо! Иди – ищи.

Не смея нагнуться поднять тулумбаз, истец быстро исчез.

– Государь выдал! – крикнул палач, ведя Плещеева.

Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади заухало тысячей глоток:

– Наш теперя-а!

Толпа бросилась к палачу, на нем затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью:

– Сгоришь с тобой!

Толпа подхватила судью; сверкнули топоры, застучали палки по голове Плещеева.

– В смирной одеже!

– Сатана-а!

– Бархаты, вишь, дома-а!

Платье Плещеева в минуту расхватили, по площади волокли голое тело.

– А наши дьяка ухлябали!

– Назарку Чистова сделали чистым!

– Тверская гори-и-т!

– Мост Неглинной гори-и-т!

– Большой кабак истцы зажгли.

– Туды, робяты-ы! Сколь добра сгибло-о!

2

В сумраке резной и ясный, как днем, стоял Василий Блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора. Кремлевская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала, ясная и мрачная.

Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царевым кабаком.

Пестрая толпа с зелеными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки, и казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водой. Народ, в бархатных котыгах и ферязях, бил в донья бочек топорами.

- С огня, братаны!
- Пей, товарищи!
- Сгорит Москва!
- Али пить станет негде?
- Гори она, боярская сугрева!
- Слушь, братья, сказывают, царь залез в смирную одежду-у?
- Так ли еще посолим!

Пили, как в подвалах Морозова. Дерево на мостовой, политое водкой, загорелось. Горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные. Свое и боярское платье горело на людях. Люди ворочались, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошел кабацкий завсегдатай поп-расстрига, плясавший по кабакам в рваном подряснике. С кем-то другим, таким же пьяным, они тащили обезображенный труп Плещеева. Расстрига, мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подолы рясы...

- Спускай! – крикнул он и бросил, раскачав, прямо в огонь тело судьи.
- Штоб ему еще раз сдохнуть! – и запел басом:

Человек лихой...
Дьявол, душу упокой,
А-а-ллилуия!

- Горишь, отец!
- Был отец, нынь голец!

В стороне, белея кафтаном, в бархатном каптуре²⁵ стоял широкоплечий казак. Правую руку держал под полой – там была сабля. Он думал:

- «Эх, сколь народу свалилось, а бояр? Мал чет...» – и, повернувшись, прибавил вслух:
- Ну, да еще впереди все!

Широко шагая, шел дымными улицами – ело глаза, пахло горелым мясом. Народ по улицам лежал как большие головни. Атаман тоже изрядно выпил, но поступь его была тверда. Только душе хотелось простора, и рука сжимала рукоять сабли.

Он был недалеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной.

- «Эти не хмельные! Истцы!»

Один из троих подошел к атаману. На нем чернела валяная шапка, серел фартук торговца:

- Эй, слушь-ко, боярский сын!
- Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами.
- Не светло, а зрак твой видной, – не ворочай глазом, я человек простой!
- Чего тебе?
- Ты зряще купил экой каптур – ен морозовской и кафтан турской бога...
- Дьявол!..

²⁵ Каптур – шапка.

Атаман выдернул из-под полы пистолет, щелкнул курок, но кремь дал осечку. Подбежали еще двое. Атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув.

– А вы? – крикнул он грозно.

Двое бежали прочь.

Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бежали истцы скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его, сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб.

Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна:

– Бревна не на месте, а тут черту крест!

Знакомым путем прошел через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины.

3

За столом на широких ладонях лежит курчавая голова.

Ириньца, в шелковом летнике, в кике бисерной по аксамитному²⁶ полю, разливает в большие чаши мед.

– А и что-то закручинился, голубь-голубой? Пей вот!

Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худощавом лице – усталость.

– Жонка, не зови меня голубем, – сарынь я.

– Ой, то слово чужое! А что такое сарынь, милой?

– Сарынь – слово басурманское – сокол, а по-нашему, по-казацки – коршун!

– Уж лучше я буду звать тебя соколом. Не кручинься, пей, вот так.

– Ух, много пил, – а и крепкий твой мед! Не кручинюсь... Плечи и руки томятся по делу.

Много его на Москве, да во Пскове наши играть зачинают... Меня же тянет на Дон.

– Жонка, видно, ждет там? И зачем ты, сокол, такой сладкой уродился?

– Думаешь... приласкаю, а рука за пистоль тянется – убить... Боярыню нын приласкал.

Глаза женщины загорелись злым:

– Змею ласкать? Змея, сокол, завсегда с жигалом!

Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво:

– Есть у меня чутье, как у зверя, и знаю я... убить или простить... Тут надо было так – простить...

– Пей!.. Я нацедила... Вишь ты какой!.. Погоди-ка, чокнемся.

Она потянулась к нему и, чокаясь, сверкнула накапками вышитых жемчугом рукавов, обхватила его за шею, целуясь.

– Не висни, жонка!

– Аль уж не любишь?

– Не лежит душа к любви... Другое вижу... вижу далеко...

– А я ничего не вижу, люблю тебя, как молонью. Страшной сегодня Москву видела, ой, страшная была Москва! И что ты с собой за заветное носишь, что народ за тобой так липнет? Готов был народ все изломить, и Бога и царя кинул. А я бы уж, если б воля была, приковала сокола к моей кровати золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой какой хошь лихой смертью.

– Кинь! То пустое...

– Не пустое, сокол! Голова мутится, сердце горит... Так бы и пошла да предала себя: «Нате, волки, ешьте! Помереть хочу. Нет мне жисти – люблю!»

²⁶ А к с а м и т – бархат.

– Забудь все, – пей!

– Гуляют да пьют, а бояре тут! – хрипел голос из распахнутой двери. На убогих ногах горбун, звеня железом, вполз в горенку.

Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги:

– Эй, старик? Где вороги?

– То, гостюшко, кошуню я! Пустое говорю – нет ни бояр, ни истцов, а вот на торгу висит грамота, и на ней списаны твои приметы, и грамоту чтут люди всякие...

– Ой, дедко, скоро как и грамота?!

– Сам чел, и люди чли, и пьян, и тверез, всяк у той грамоты стоял. А платится за твою голову, гостюшко, цена немалая: три ста рублей московскими, да тулуп рысей, да шапка тому, кто тебя уловит...

– Мекал я, – тут меня дошли?

– Пей, мой боженька!

– Не бог я и богом быть не хочу... Ходил по монастырям, на народ глядел... веру пытал... Верю ли я, не знаю того... Ведаю одно – народ молит Бога с молитвами, слезами да свечами, а кругом – виселицы, дыба и кнут... Богач жиреет, а народ из последних сил тянет свой оброк... от воеводы по лесам бежит... Палачам за поноровку, чтоб помене били, последние гроши дает, а у кого нет, чем купить палача, ино бьют до костей... Пытал я Бога искать, да, должно, не востер в книжечках. Вот брат мой старшой, Иван Разин, чел книги хорошо и все клянет... Не Бога искать время, искать надо, как изломить к народу злобу боярскую.

– Нынь, милой, не одних истцов – пасись всякого: имать будут тебя все... Срежь-ко свои кудри, оставь их бедной Ирихе... Откажи ей кудерышки – ведь унесешь любовь, а я кудри буду под подушкой хоронить, слезами поливать и стану хоть во снах зреть ту путину дальнюю, где летает мой сокол желанной... Слушь! Вот что я удумала...

– Говори, жонка, – дрема долит!

– Обряжу я тебя в купецкую однорядку, брови подведу рыжим, усы и бороду подвешу... сама купчихой одержусь, и пойдем мы с тобой через Москву до первых ямов да найдем лошадей. Я-то оборочусь сюда, а ты полетай в родиму сторону.

– Спать, жонка! А там на постели додумаю, быть ли мне в купчину ряженным или на саблю надею склать, – спать!..

Горбатый старик, примостившись в углу под образами на лавке, приклеив около книги, старой, большой и желтой, две восковых свечи, читал.

– Пей, старой!

– Сегодня, гостюшко, я не пью... Сегодня вкушаю иной мед – мудрых речения...

– Бога ищешь? Кинь Его к лиходельной матери! Ха-ха-ха!

– Ну его! Снеси меня, Степа... снеси на постель...

Свечи погашены. Сумрачно в горнице. Сидит в углу старик, дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде, водит черным пальцем по рукописным строкам книги. На божнице у Спасова лика черного, в белом серебряном венце, горят три восковых свечи. Спит атаман молодой, широко раскинув богатырские руки, иногда свистит и бредит. К его лицу склонилась женщина; кика ее, мутно светя жемчугами и дорогими камнями, лежит на полу у кровати.

Женщина упорно глядит, иногда проводит рукой по глазам. Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего, он тревожно пошевелил головой, не открывая глаз; она быстро сунулась растрепанными волосами в подушки. Дробит рубаха на ее спине, колыхаются тихие всхлипы-ванья.

Переверачивая тяжелый лист книги, горбун чуть слышно сказал:

– Ириньца, не полоши себя, перестань зреть лик: очи упустят зримое – сердце упомнит...

Она шепотом заговорила:

– И так-то я, дедко, тоскую, что мед хмелен, а хмель не берет меня...
Горбун, перевернув, разгладил лист книги.

Войсковая старшина и гулебщики

1

Батько атаман на крыльце. Распахнут кунтуш²⁷. Смуглая рука лежит на красной широкой запояске. Из-под запояски поблескивает ручной серебряный турецкий пистоль. Лицо атамана в шрамах, густые усы опущены, под бараньей шапкой не видно глаз, а когда атаман поводит головой, то в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом.

– Ге, ге, козаки! Кто из вас силу возьмет, тому чара водки, другая меду.

– Ого, батько!

Недалеко от широкого крыльца атамана, ухватясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней подымается пыль; пыль – как дым при луне. Сабли казаков брошены, втоптаны в песок, лишь медные ручки сабель тускло сверкают, когда борцы их топчут ногами. Лица казаков вздулись от натуги, трещат кости, далеко кругом пахнет потом.

Иные из казаков обступили борцов; лица при луне бледные, бородатые, усатые и молодые, чмокают, ухают и разбойно посвистывают:

– У, щоб тобі свиня зzyła!

– Панько, держись!

– Лух, не бувай глух!

На синем небе – серая туча в темных складках облаков; из-за тучи, словно алам на княжьем корзне²⁸, – луна... За белыми хатами-пристройками атаманова двора мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень.

От рослых фигур бродят, мотаются по земле черные тени, кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах.

По двору к крыльцу атамана идут три казака – старый, седой, и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат:

– Бувай здоров, дид Тимоша-а!

– Эге, здоров ли, дидо?

– Хожу, детки! Здоров...

– Живи сто лет!

– Эге, боротьба у вас?

– Да вот Панько с Лухом немало ходят.

– Стенько! Покидай их... – Старик оборачивается к сыну.

– Степана твоего знаем, не боремся!

– Эге, трусите, хлопцы!

Атаман встретил гостей:

– Бувай здоров, козаче-родня! И хрестник тут? Без отписки круга на богомолье утек, то не ладно, козак!

– Поладим, хрестный! Подарю тебя...

Атаман поцеловал крестника в щеку, похлопал по спине:

– Идешь, козак, молиться, а лезешь в кабак напиться?..

– Хмельное, хрестный, пить люблю!

– Ведаю... Хорошо пил, что про твое похмелье вести из Москвы дошли...

– За мою голову Москва рубли сулила... не уловила, – сюда, вишь, путь наладили.

²⁷ К у н т у ш – верхняя одежда с меховой отделкой.

²⁸ К о р з н о – плащ.

– Нашли путь, хрестник! Путь к нам с Москвы старой...

На двор прибывали казаки с темными лицами, в шрамах, бородатые, в грубых жупанах из воловьей шерсти.

– Эй, батько, давай коли сидеть по делу.

– Давай, атаманы молодцы!

Натаскали скамей, чурбанов, досок – расселись. Молодежь встала поодаль. Борцы подобрали с земли шапки и сабли, ушли.

Атаман начал:

– Открываю круг! Я, братья матерые козаки, хочу кое-что поведать вам, иное вы и сами про себя знаете, но то, иное, надо обсудить по-честному!

Задымили трубки.

– Тебя и слушать, Корней Яковлевич!

– Говори!

– По-честному рассказывай!

– Скажу – слушайте: зазвал я вас, братья атаманы, есаулы и матерые козаки, на малый круг, Москву познать и вольность старую козацкую оберечь. Без письменности нынче будем говорить...

Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца. Сел и старик со старшим сыном; младший, подросток, стоял, прислонясь к перилам.

Атаман, блеснув серьгой, покосился, сказал младшему Разину:

– Фрол! Сойди-ка к хлопцам, то с нами сядешь, старых обидишь, а нужна будет – за отцом зайдешь.

Младший сын старика сошел с крыльца. Заговорил старик:

– Ты, родня-атаман, ведай: Москва давно хочет склевать козацкую вольность. Москва посадила воевод по всей земле русской, одно лишь на вольном Дону мало сидят воеводы... На вольном Дону козак от поборов боярских не бежит в леса, а идет в леса доброй волей в «гулебщики» – зверя бить, рыбу ловить – да гостем гостит за ясырем по морям... дуванит на Дону свою добычу по совести...

– Ото правда, дид! – отозвались снизу.

Атаману показалось, что дверь в сени за его спиной слегка приоткрылась, он оглянулся, поправил шапку и заговорил:

– Таких слов, дед Тимофей, не надо рассказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у нас, – это вольному козачеству – покор и поруха. Москва имеет каждое наше слово, и уши у ней далеко слышат...

– Эй, отец атаман, зато ты так говоришь, что – чувствует мое старое сердце – приклонен много царю с боярами... Ой, дуже приклонен!

Под кудрями бараньей шапки вспыхнули невидимые до того глаза атамана, но он выколотила о крыльцо трубку, набил ее, закурил от кресала и тогда заговорил спокойно:

– Откуда ты проведал, старый казак, что Корней падок на московские порядки? Вы, матерые козаки, судите по совести: холоп я или казак?..

– Козак, батько Корнило!

– Козак матерой, в боях вырос!

– Еще, атаманы братья, – сбил меня Тимофей с прямого слова, – хочу я довести кругу, что посланец боярин от Москвы не пустой пришел, пришел он просить суда над Степаном Разиным. Чем виноват мой хрестник, пускай кругу поведает сам.

Молодой казак встал:

– Или мне, батько хрестный, и вы, матерые низовики, место не в кругу козацком, а на Верхнем Дону?

Атаман, покуривая, прошептал:

– Пошто встал, хрестник, и ране времени когти востришь? Сиди, – свои мы тут, без письма судим.

– Пускай кругу обскажет козак, что на Москве было!..

– Говори-ка, Стенько.

– Москва, матерые козаки атаманы, зажала народ! Куды ни глянь – дыба, кнут; народу соли нет, бояре под себя соль взяли...

– Ото што-о...

– Глянул на торгу – шумит народ. «Веди на бояр – соль добудем!» Судите по совести, зовут козака обиженные, мочно ли ему не идти? Пошли, убили... царь того боярина сам выдал...

– Чего еще? Сам царь выдал!

– Дьяка убили – вор был корыстной, ну ино – хлеб режут, крохи сыплются – пограбили царевых ближних... Бояре грабят, пошто и народу не пограбить бояр?.. Мстился народ, а утром глянул: висит на торгу бумага – «имать отамана»; чту – мои приметы. Угнал я на Дон, а на Дону – сыск от бояр... Да и мало ли наших козаков Москва замурдовала!

– Ой, немало, хлопец!

– Не выдаем своих!

– Гуляй, Стенько! На то ты козак...

– Отписать Москве: «Почили-де его своим судом»!

– А ты, хрестник, берегись Москвы! Потому и дьяков не позвал в круг я...

– Не робок, пускай ловят!

– Еще скажу я вам, матерые козаки, в верхних городках много село беглых с Москвы; люд все более пахотной, люд тот землю прибирает. Годится ли такое?

– Эй, Корнила, отец, как же обиженных не примешь?

– Как закроешь им сиротскую дорогу?

– Не согласны, братья?

– Не согласны!

– А это Москву на нас распаляет!

– Вот еще, Корней, слушь! Москва попов шлет нам, и попы – убогие старцы. Убогих своих много...

– Нам московского Бога не надо! В Москве, братья козаки, все кресты да церкви, – богов много, правды нет!

Атаман перебил Разина:

– Ты, хрестник, Бога не тронь! Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе нам, не Литва она, не татаре... Не позабывайте, братья атаманы, что Москва шлет жалованье, шлет хлеб за то, что чиним помешку турку и татарве... Мой хрестник Стенько млад, он не ведает, что исстари от Москвы на нас идет зелье и свинец, а ныне и народом надо просить помочь: турчин загородил устье Дона, завязил железными цепями, выше Азова поставил кумфаренный город с башнями, оттого нет козаку хода в море!

– Добро, батько! Пушай Москва помочь даст зельем и народом.

– Еще, вольное козачество, слышьте старого козака Разю!

– Слушаем, дид, сказывай.

– Прошу у круга отписку на себя да на сына Степана, хочу идти с ним в Соловки к Зосиме-Савватию, раны целить.

– Ото дило, дид!

– Раны меня изъедают, и за старшего Ивана, что к Москве в атаманы отозван воевать с поляками, свечу поставить, – ноет сердце, сколь годов не вижу сына...

– Тебе отписку дадим, а Степану не надоть... Он и без отписки ходит!

– Я благодарствую кругу!

- Пысари есть?
- Печать батько Корней пристукнет!
- Я ж много благодарствую вам!
- Еще что есть судить?
- Будем еще мало, атаманы молодцы! Так хрестника моего Степана Москве не оказывать?
- Не оказывать!
- Стенько с глуздом²⁹! Недаром один от молодежи он в кругу...
- То правда, братья! Еще спрос: с Москвы на Дон не закрывать сиротскую дорогу?..
- Не закрывать!
- Пущай от воевод народ спасается!
- Патриарх тоже лих! И от патриарха...
- Помнить надо, атаманы молодцы, что на Дону хлеба нет, а пришлые с семьями есть хотят!
- По Волге патриарши насады³⁰ с хлебом ходят!
- Исстари хлебом с Волги живы, да рыба есть.
- С Украины – Запорожья!
- Оно атаман сказал правду, – думать надо, как с хлебом?..
- Додумаем, когда гулебщики вернутся да с ясырем с моря; большой круг соберем!
- Нынче думать надо-о!

Круг шумел, спорил. Атаман знал, что бросил искру о хлебе, что искра эта долго будет тлеть. Он курил и молча глядел на головы и шапки казаков. Обойдя шумевший круг, во двор атамана, пробираясь к крыльцу, вошла нарядная девка с крупной фигурой и детским лицом, в красной шапочке, украшенной узорами жемчугов. Под шапочкой русые косы, завитые и уложенные рядами. Степан Разин встал на ноги, соскочил с крыльца, поймал девку за большие руки, поволок в сторону, негромко торопливо спросил:

- Олена, ты зачем?
- К атаману...

Казак, не выпуская загорелых рук девки, глядел ей в глаза и ничего не мог прочесть в них, кроме каприза.

- Ой, Стенько! Не жми рук.
- Забыла, что наказывал я?
- Уж не тебя ли ждать? По свету везде бродишь, а я – сиди и не пляши.

Она подкинула ногой в сафьянном желтом сапоге, на нем зазвенели шарики-колокольчики.

- Хрестный дарил сапоги?
- Не ты, Стенько, дарил!
- Жди, подарки есть.
- А нет, ждать не хочу!
- Не ладно, Олена! К старому лезешь. Женюсь – бить буду.
- Бей потом – теперь не твоя!

Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул:

- Гей, дивчина, и ты, козак, – кругу мешаете...
- Прости, батько, я хотела к тебе.
- Гости, пошлю за тобой, Олена, а ныне у нас будет сговор и пир. Пошлю, рад тебе!
- Я приду, Корнило Яковлевич!
- Прошу и жалую, пошлю, жди...

²⁹ Г л у з д – разум.

³⁰ Н а с а д – речное судно.

Девка быстро исчезла. Степан поднялся на крыльцо. Атаман сказал тихо – слышно было только Разину:

– Хрестник, не лезь батьке под ноги... Тяжел я, сомну.

В голосе атамана под шуткой слышалась злоба, и, повысив голос, Корней крикнул:

– Атаманы молодцы! Вас, есаулы и матерые козаки, прошу в светлицу – наше немудрое яство отведать.

– Добро, батько атаман!

Заскрипело дерево крыльца – круг вошел в дом.

2

В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи, стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми с синей выбойкой цветов ска-тертями. На столе кувшины с водкой, яндовы с фряжским³¹ вином, пивом и медом. Блюда жареных гусей, куски кабана и рыба: чебаки³², шамайки³³ жареные. На больших серебряных подносах пряники, коврижки, куски мака, густо обсыпанного сахаром. Пониже полок белые стены в коврах. На персидских и турецких коврах ятаганы с ручками из «рыбьей зубы», сабли, пистолы кремневые, серебряные и тяжелые, ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии да ходил бурными ночами «в охотники» мимо Азова по «гирлам» в море за ясырем и зипуном. По углам пудовые пищали с золочеными курками-колесами; из колес пищалей висят обожженные фитили. Тут же в углу на длинной изукрашенной рукоятке – атаманский чекан³⁴ с обушком и булава.

Гости обступили стол, но не сажались. Хозяин, сверкнув серьгой в ухе, сказал:

– Прошу, не бояре мы, а вольные атаманы – на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели, – кто куда сел, тут ему и место!

Сам ушел в другую половину, завешенную ковром; вскоре вернулся в атласном красном кафтане, на кафтане с серебряными шариками-пуговицами петли, кисти и петлицы из тянутого серебра. Поседевшие усы висели по-прежнему вниз, но были расчесаны и пушисты. К столу атаман вышел без шапки, голова по-запорожски обрита, на голове черная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной – золотым перстнем на большом пальце, на перстне – именная печать, – крикнул молодо и задорно:

– Пьем, атаманы, за белого царя!

– Пьем, пьем, батько!

Зазвенели чаши, иные, роня скамьи, потянулись чокаться. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с медом, Корней Яковлев протягивал ее каждому, кто подходил позвенеть с ним. Многие целовали атамана в щеку, украшенную шрамами.

Выпивая, гости раздирали руками мясо. Сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками куски кабаньего мяса, глотал и наливал ближним гостям, что попало под руку. Около стола бегали два казачка-мальчика, наполняли чаши гостей, часто от непосильной работы разливая вино.

– Лей, козаченьки! Богат Корней атаман!

– Богат батько!

– Не один разбойной глаз играет на его черкасском жилье!

– Дальные, наливай сами! – кричал хозяин.

³¹ Ф р я ж с к и й – французский.

³² Ч е б а к и – леши.

³³ Ш а м а я – мелкая рыба.

³⁴ Ч е к а н – молоток на длинной рукоятке, принадлежность военачальника и атамана.

– Не скупимся, батько!

Слышалось чавканье ртов, несся запах мяса, иногда пота, едкий дым табаку – многие курили. Дым и пар от многих голов подымались к высокому курному потолку.

– И еще пьем здоровье белого царя!

– Пьем, батько!

После слов хозяина «и еще пьем» старик закричал. Его слабый крик, заглушенный звоном чаш, чавканьем и стуком о сапоги трубок, был едва слышен, но кто услышал, тот притих и сказал о том соседу.

Старик заговорил:

– Ой, козаче! Слушайте меня, атаманы!

– Сказывай, дид!

– Слышим!..

– А-а, ну!

– О горе нашем козацком сказывать буду!.. Було, детки, то в Азове... На покров, полуживые от осады, мы слушали грамоту белому царю, – пади он под копыто коню! – хрест ему целовали да друг с другом прощались и смерть познать приготовились. В утро мокрое через силу по рвам ползли, глездили по насыпям, а дошли – в турецком лагере пусто. В уторопь бежали, настигли турчина у моря, у кораблей, в припор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя и кольцо, не упомяну, малых знамен...

– Бредит козак! То давно минуло.

– Ты не делай мне помешки, Корней отец!

– Ото, козак древний, говори!

– Вот, детки, тогда и позвалось «Великое войско донское». Знатная станица пошла в Москву от Дона – двадцать четыре козака с есаулом, но скоро бояре забыли нашу кровь, наши падчие головы и тягости нашего сидения в Азове... Указали сдать город турчину. Нам было сказано: «Воротись по своим куреням, кому куда пригодно!»

Старики говорили, слабым голосом кричал Разя:

– Что добыли саблей, не отдадим даром!

– И мы не отдадим, козак!

– Батько-о! Где гость от Москвы?

– Путь велик, посол древний опочивает.

Дверь в другую половину светлицы атаманского дома завешена широким ковром-вышивкой, подаренным Москвой; на ковре вышит «Страшный суд». По черному полю зеленые черти трудятся над котлом с грешниками. Котел желтый, пламя шито красным шелком, лица грешников – синим. Справа – светло-голубые праведники, слева, в стороне, куча скрюченных грешников, шитых серым. Картина зашевелилась, откинулась. Степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин с желтым лицом, тощий и сухой, в парчовом, золотном и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем. Ступая мягко сафьянными сапогами, подошел к столу, сказал тихо:

– Атаманам и всему великому войску всей реки великий государь всея Руси Алексей Михайлович шлет свое благоволение государское...

В старике боярине все было мертво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица зорко – не по годам.

Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром. Гость истово перекрестился в угол и степенно сел.

Кто-то крикнул:

– Слушь-ко, боярин! Сказывают, царь у боярина Морозова в кулак зажат?

– Вино в тебе, козак, блудит! То ложь, – ответил боярин и оглянулся на дверь, завешенную картиной-ковром: оттуда вышел мальчик-татарчонок в пестром халате; на золотом под-

носе, украшенном резьбой и финифтью³⁵, вынес серебряный острогорлый кавказский кувшин. Татарчонок бойко поставил все это перед боярином и исчез. Не подымая глаз, боярин сказал:

– Кто стоит за правду, того ренским употчеваю...

– А ну, боярин, всех потчуй!

– Того, кто мне люб, отаманы молодцы!

Гости шумели, кричали бандуриста. Кто-то колотил тяжелым кулаком в стол и пел плясовую:

Ой, кумушка, ой, голубушка,

Свари мне чебака,

Та щоб юшка была-а...

Иные, облокотясь тяжелыми локтями на стол, курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков, приказывал:

– Браги, водки и меду, хлопцы!

– Ото, батько! Живой не поберешь ноги...

Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Разе:

– То, старичок козаче, правду ты молвил про Москву: много обиды от Москвы на душе старых казаков... Много крови пролили они со турчином в оно время, и все без проку, – пошто было Азов отдавать, когда козаки город взяли, отстояли славу свою на веки веков?

– То правда, боярин!

– А я о чем же говорю? И мир тот, по которому Азов отошел к турчину, все едино был рушен, вновь басурману зандобилось чинить помешку, ныне-таки есть указанье – повременить...

– Да вот и чиним, а в море ходу нет!..

– Азов – город, надобный белому царю. За обиды, за старые раны и тяготы, ныне забытые, выпьем-ка винца, – я от души чествую и зову тебя на мир с царем! Выпьем!

– С царем по гроб не мирюсь! Пью же с тобой, боярин, за разумную речь.

– Пей во здравие, в сладость душе...

Боярин налил из кувшина чару душистого вина. Старый казак разом проглотил ее и крикнул:

– За здравие твое, боярин-гость! Э-эх, вино по жилам идет, и сладость в меру... Налей еще!

– И еще доброму козаку можно.

Желтая, как старый пергамент, рука потянулась к кувшину, но в боярина уперлись острые глаза. В воздухе сверкнуло серебро, облив вином ближних казаков, кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся татарчонок, схватил кувшин и исчез. Гости, утираясь, шутили:

– Лей вино-о!

– В крови да вине козак век живет!

Степан схватил старика за плечо:

– Отец, пасись Москвы, от нее не пей.

– Стенько, нешто ты с глузда свихнулся? Ой, вино-то какое доброе!..

Боярин неторопливо перевел на молодого Разина волчьи глаза, беззвучно засмеялся, показывая редкие желтые зубы:

– Ты, молотчий, по Москве шарпал, зато опоздился – мы с отцом твоим ныне за мир выпили...

– Ты пил, отец?..

³⁵ Ф и н и ф т ь – эмаль.

– И еще бы выпил! Я, Стенько, ныне спать... спать... И доброе ж вино... ну, спать!

Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лежа на крепком плече сына, старый Разя, едва двигая одеревеневшими ногами, ушел из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын, а Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошел в другую половину атаманского дома. Когда его плотная фигура пролезла за ковер, боярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана:

– Узнал ли, Корнеюшка, козака того, что Москву вздыбил?

От вина лицо атамана бледно, только концы ушей налились кровью. Особенно резко в красном ухе белела серебряная серьга. Помолчав и обведя глазами гостей атаман ответил:

– Не ведаю такого... Поищем, боярин!

– Я сам ищу и мекаю – тут он, государев супостат... Приметы мои не облыжны: лицо малость коряво... рост, голос... У нас, родной, Москва из веков тем взяла, что ежели кто в очи пал, оказал вид свой, тот и на сердце лежит. Тут ему хоть в землю вройся – не уйти... такого Москва сыщет...

С ушей на лицо атамана пошла краска. Суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая волосатой рукой тяжелую чашу, он стукнул ею по столу, сказал:

– На Дону, боярин, мало сыскать – надо взять, а ненароком возьмешь, да и сам в воду с головой сядешь!

– Эй, Корнеюшко, и то все ведаю... Но ежели тебе боярский чин по душе, а царская шуба по плечу, то Москве поможешь взять того, от кого великая поруха быть может боярству, да и Дону вольному немалая беда...

– Подумаю, боярин, и не укроюсь – шуба и честь боярская мне по душе!

– Вот и мекай, Корнеюшко, как нам лучше да ближе орудовать...

Атаман неожиданно встал за столом. Зычно, немного пьяно заговорил:

– Гой, атаманы, есаулы молодцы!

– Батько, слушь! Слышим, батько-о!

– Голутьбу, атаманы, приказуем держать крепко! Приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по сиротской дороге стрельцами, холопями и мужиками наша голутьба нижних и верхних городов сговор ведет... И ныне та година, когда царь мужиков и холопей присвоил накрепко к господину, – много их побежит к нам, промышляйте о хлебе, еще сказываю я!

– Не лей, Корнило, на хмельные головы приказов!

– Лей вино, батько-о!

Переменив голос на более мягкий, атаман махнул рукой и, бросив зазвеневшую чашу на пол, крикнул:

– Гей, гей, дивчата!

Видимо, знали обычай атамана, ждали его крика – в сени хаты с крыльца побежали резвые ноги, горница наполнилась молодыми казаками и девками в пестрых нарядах. Появился музыкант с домрой и бандурист – седой, старый запорожец. Атаман вышел из-за стола вместе с боярином. Крепко выпивший Корней Яковлев не шатался, только поступь его стала очень тяжелой. Пьяная казацкая старшина не тронулась с мест, даже не оглянулась. Круг ел и пил, как будто бы в горнице, кроме них, никого не было.

– Эге, плясавки!

Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаху в угол, открыл другую половину, – пришлые затопали туда. Бандурист, в запорожской выцветшей одежде, красных штанах и синей куртке, сел на пол, согнув по-турецки ноги, зачистил плясовую. Домрачей в рыжем московском кафтане стоя вторил бандуристу и припевал, топая ногой:

Ах ты, домра, ты домрушка!

А жена моя Домнушка

Пирог, блины намазывала,
Стару мужу не показывала!
То лишь Васеньке ласковому,
Шатуну, женам угодливому,
Ясаулу разбойничку —
Человеков убойничку.

Молодежь плясала. Позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедем Олена в белой рубаше. Лицо ее не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью, оттого на бледном лице, полузакрытые, искристые от наслаждения пляской, выделялись темные глаза и черные, плотно сошедшиеся брови.

— Эх, Олена, дивчина! Краше твоей пляски нет... — кричал атаман. Его тяжелый сапог слышен был, когда он топал ногой.

Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах.

— Стой, дивчина-бис!

Зазвенели колокольчики в последний раз, она топнула ногой и встала.

— На ж тебе!

Атаман бросил на шею девке тяжелое ожерелье из золотых монет.

За топотом ног не слышно песенников, чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах.

У белой стены, прислонясь спиной, стоял казак, худощавое лицо хмуро. Глаза следили за Оленой. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжелую руку:

— Эге, хрестник! Нет плясунов — всех Оленка кончила...

Разин тряхнул кудрями, молчал и как будто еще плотнее налег широкой спиной на стену.

— Приутих, куркуленок³⁶! Рано от гнезда взлетел... Не то иные — учатся колоть, рубить, а ты на мах поганого пополам секаешь, видал сам, видал, — и, дыша в лицо Разина хмелем, атаман тихо, почти шепотом прибавил: — Разбойник! Но я люблю тебя, Стенько...

— Изверился я, хрестной!

— Не-ет! — Атаман открыл рот и отшатнулся.

Разин свистнул, отделился от стены:

— Место дай, черти!

Плясуны сбились в кучу к окнам. Взвилась над волосами сабля, засверкали подковы на сапогах. На кровати атамана, крытой ковром из барсовых шкур, сидел московский гость, его волчьи глаза следили за плясуном неотступно, но видел боярин лишь черные кудри, блеск на пятках плясуна да круг веющей сабли. От разбойных посвистов у боярина холодело в спине, плясун ходил, веял саблех, его глаза при колеблющемся, тусклом пламени свечей, поставленных на дубовой полке, горели. Московский гость вздрогнул, втянул голову и закрыл глаза, потом открыл их, тяжело вздохнув: высоко над его головой, чуть звеня, стукнула, вонзилась в стену сабля. Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел, как всегда, угрюмо-спокойно. Зазвенели шаркуны на сапогах, Олена подбежала к нему, прижалась всем телом, сказала:

— Стенько, я люблю!

— Брось батьку дар!

Девка сорвала с шеи монисто, бросила на пол.

— К отцу, Олена... благословимся. Эй, хрестный, пошли саблю, у тебя своя лучше!

³⁶ Куркуль — коршун.

Олена и казак ушли. Атаман молча пнул ногой брошенное девкой ожерелье и громко закричал пирующим:

– Гости, примите ноги! На чужой каравай очей не порывай, со стола не волоките ничего...

– Скуп стал, ба-а-тько-о!

Хата атамана медленно пустела и наполнялась прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели, крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на край кровати.

– Зришь ли, Корнеюшко, молодца? Таким быть не место, как он... таких скакунов земля-мать долго не носит...

– Знаю, боярин!

– А и знаешь, Корнеюшко, да не все. Чуешь ли беду? Я ее чую! Холопи на Дон бегут, и Дон их примаает... Много их и веком бегало, а бунт не всегда крепок. Бывает он тогда, когда такая рука да удалая голова здынется из матерней утробы. И ныне, знаю я, ежели не изведем корень старого Рази козака... Его понесут завтра...

– Эге! Вино твое не простое, боярин Пафнутий?

– Старика нынче отпоют.

Атаман встал, зашагал по горнице и, видимо, больше думая о своей обиде, тряхнул головой:

– Оленка-бис!

– Станешь боярином, Корнеюшко, ино мы тебе родовитее, краше невесту сыщем...

Атаман подошел к дверям, где недавно пировал круг, крикнул:

– Гей, козаки!

Боярин вздрогнул.

В светлицу вошли два дежурных казака.

– Проводите боярина в дальнюю хату, где дьяки спят... Там ему налажено место!

Московский гость встал и, не кланяясь, подал атаману сухую холодную руку:

– Доброй ночи, атаман! И доброй ночью посмекай, как быть лучше и что мной тебе сказано о том... Ведаю я людей, – тяжело тебе с вольного Дона неволю снять... Спихни эту неволю на нас. Москва – она государская, людишек и места в ней много, Москва знает, что кому отсечь.

– Прощай, боярин!

Гость ушел, а атаман ходил по светлице, пока не оплыли до углей свечи.

3

Фрол силился удержать старика. Тимофей Разин висел на руке сына, его гнуло к земле. Голова вытянулась вперед, от света луны серебрилась щетина на казацкой голове.

– Ой, батя, грузишь, что каменной!

Старик выпрямился, остановился, сказал:

– Фролко, и ты берегись Корнея... Корней дуже хитрой, а пуще... – старик не мог подыскать слова, память его слабела, мысли перескакивали, он вспомнил старое, бормоча запорожскую песню:

А що то за хыжка
Там на вырижку?
Ляхи сыдили,
Собак лупылы,
Ножи поломалы,
Зубами тягалы...

– Богдану-батько! А тож с крулем увяз... Эге, Фролко, кабы гуляй-городыну³⁷ подволокчи к московским палатам та из фальконетов, та из рушниц пальнуть в царские светлые очи! Жисти не жаль бы за то старому козаку, пропадай козак!..

– Батя, идем же скорее!

– Эге, Фролко, стой! Дай мне на месяц, на небо поглянуть... Вырос я на поле, на коне, на море. Ух ты, козацкий город! Запорожский корень, на серебряном блюде стоишь... Месяц, вода... до-о-бро!

Пришли в хату. Фрол с трудом уложил старика на кровать. Подошел, откинул доску, закрывавшую окно: степной, свежий ветер подул в застоявшийся воздух. Густое лунное пятно упало в дыру окна. Молодой казак подошел к столу, в корыте светца нашел огниво, высек огня, зажег дубовую лучину, потом вторую и воткнул их в черное железо.

– Сыну Фролко!

– Что, батя?

– Налей, козак, в корец сюзьмы³⁸ с водой... Мало воды лей!..

Черноволосый подросток, сбросив из воловьей шерсти кожух на скамью, дернул кольцо двери в подвал, слезал туда и принес в ковше деревянном кислого молока с водой.

– Добре, сыну, нутро жжет, и пот долит... Сам я – дай руку, щупай! – вот весь, як будто крыга весной, холодной и шершавой, а нутро – што черти пули льют в поход на ляхов... «А що то за хыжина там на вырижку?» И голоса не стало, а добре пел еще сей день, язык – как камень... Сыну, дай еще сюзьмы!

– Да, батя, у нас нет боле. Може, у Стеньки есть, то хата его на замке. Годи, я поищу под рундуком ключа.

– А-а, заперто! Не ищи... будь тут... «Ножи поломалы, зубами тягалы». Добрая, Фрол, песня. Мы под Збаражем ляхам играли ее... ха-ха... тай под Збаражем, штоб ему! Бурляя кончили ляхи – эге, богатырь был Бурляй! В шесть рук Синоп пожег... фунт табаку совал в трубку, пищаль ли, саблю в руки – и бьет мухаммедан, як саранчу... Коло лица ночью огонь! От табаку усы и чуб трещат... Один сволачивал челн в море со всей боевой поклажей... В шинок влезет – того гляди, потолок обвалит... ого, коня на плечо подымал с брюха... Жжет нутро! Ой, Фрол, жжет, слушай!

– Я тут, батя!

– Хто там царапает? Пищит, слушай... а?

– Сокол, видно, цепкой опутался он так!

– Эге, сокол!.. Сокола буде не надо держать – тебя и Стеньку он не знает, а мне, видно, мал свет... Раздень!

Фрол стал раздевать старика.

– Тащи все! Тащи прочь, дай чистую рубаху... Вот, вот ладно. Пойду на майдан³⁹ – выйду объявить: женится старый козак Разя.

Повенчала его сабля... сабля... сабля...

Старик с трудом встал. Лицо горело пятнами, веки спухли, мешками опустились на глаза. Шатаясь и худо видя пол, в длинной белой рубахе, босой, на желтых искривленных ногах подошел к окну, где пищал сокол.

Птица злобно рвала клювом цепочку, клюв потрескивал.

– Стой, сарынь! Давно не был на воле... стой же, пушу... Фрол, помоги, не вижу...

³⁷ Гуляй-городына – башня, ходящая на колесах, с людьми; ее придвигали к осажденному городу.

³⁸ Сюзьма – кислое молоко.

³⁹ Майдан – площадь.

– Он щипется, батя!

– Ну, козак, – всякому удалому козаку – смерть на колу, а худому – у жонки в плахте, – небось, рук не порвет до плеч...

– Я не боюсь, да он крутится!

Сокол пищал злобно, рвал цепочку, мелькал сизыми ключьями перьев. Старик взял его в руки и тихо сказал:

– Сарынь, жди.

Сокол злобно вертел головой, но не клевался и ждал. Фрол распутывал на нем ржавую железную цепочку.

– Отстегни, сыну, – выпустим... слышал что-то, видно... слышал, неспроста он...

– Ночью не полетит.

– Полетит, спущай цепку.

Сокол, почуяв свободу, прыгнул за окно.

– Полетел?

– Да, взвился, ишь!

Старик, не морщась, заплакал:

– И месяца не вижу... темно... тьма, тьма... Поклон, сарынь, сыну Ивану, что в ата-маны... Ой, жжет! Фрол, сюзьма, сюзьма! Москва... Стенько сказал... а-а... держи... Фрол, где ты?

Подросток не мог удержать старого казака. Тимофей Разя осел на пол, седая голова на тонкой, коричневой от загара шее низко склонилась. Фрол, напрягаясь, силился поднять отца, чувствовал, что не может, и опустил холодное, как камень, тело...

4

Подросток беспомощно постоял над мертвым отцом и ушел на кровать; уткнувшись в заячьи шкуры, заменявшие подушки, заплакал: ему казалось, что он виноват в смерти отца.

– Не дать ему сесть до полу, жил бы.

Отец как Стеньку, так и его учил владеть саблей, на коне скакать, колоть пикой. Умел старик вовремя упрекнуть и поддержать храбрость.

– Батя мой, батя...

Лунный свет падал в окно, когда Фрол поднял голову; ему слышались голоса, лунный свет в окне стал шире, а по телу Фрола пошли мурашки. Он все забыл и слушал, полуоткрыв рот, голос девки.

Девка, не зная и не желая того, волновала подростка Разю:

– Стенько, не обрядна я и не пойду к твоему батьке... Годи, завтра обряжусь, не бойсь, приду, буду, как все, тебя в мужья просить...

– Оленка, перестань! Не надо, – нарядная, куда больше, – сегодня отцу все скажешь, а завтра на майдан – народу поклонись, и я скажу: «Беру тебя в жены!» Попа к черту...

– Ну, ин ладно!

Торопливые руки начали шарить дверь. Фрол вдавил лицо в заячьи шкуры.

– Эй, Фролко! Сатана ты, где огонь?

– Погас, огниво в свеце, лучина!

Слышно было, как тяжелая рука била кресалом по камню.

– Фрол, где батя?

– Гляди – на полу.

Лучина попала сырая. Степан, ударив нетерпеливо по светцу, погасил тлеющие огарки. Полез под кровать рукой, нашарил ящик, вынул две сальных свечи, зажег.

– Эй, Фрол. Пошто на полу отец?

– Он застыл, Стенько!

– А-а-а! Фрол, беги на площадь. Ту близ, справо дороги, хата, в ей греки живут и баньяны⁴⁰ разные. Понял?

– Понял!

– Там, знаю я, немчин лекарь проездом стал, ве́ди его... скажи... да на вот талер – еще дам! Скажи: не пойдет – с пистолем заставлю.

– Бегу, Стенько! Скажу...

– Ой, Олена, ежели мой отец отравно пил, я московитов бояр не спущу даром... Ты гляди – рука? Она – камень, так не помирают с добра... Подойди – старик мертвый, а не бойсь – золотой... В море малого меня брал пищали заряжать... Учил переходить на конь реки, и первый я из всех рубил, колол... От атамана уздечки, седла. Зато дьявол! Что сказываю? Все знаешь сама.

– Знаю...

– Ходи, не бойся, – вот его рука, подымаю, – он живой дал бы согласие... а? Ты моя, Олена? Беда, ой беда! Батько, старый Тимоша, отец!

Молодой, казак стоял на коленях, теребил свои кудри. Девка держала казака за плечи.

– Долго! Неидет немчин? Ино сам пойду.

– Ты плачешь, Стенько? Я буду крепко любить...

– Не целуй, не висни, Олена! И не знаю я... что? что?

Открылась дверь. Торопливо, почти вбежал Фрол, за ним двое немчинов в черных плащах вошли в хату. На головах черные шляпы с высокими тульями и белым перьем. Оба в башмаках, при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно. Другой на тонких ногах решительно подошел, нагнулся к мертвому, потрогал под набухшим веком остекленевший глаз старика, пощупал холодную руку.

– Ту светит! Ту светит! – приказал он.

Степан водил огнем свечи, куда показывал лекарь.

– Тот! Помер, можно скажайт...

– Отрава или нет? Да правду сказывай, черная сатана!

– Мой правд, завсегда правд! Стар... сердце... Пил вина?

– Пил – был на пиру!

Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго внимательно глядел на мертвого.

– Не знайт! – сказал лекарь. – Пил вина, от сердца ему смерт... Schwarz das Gesicht?⁴¹ – обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели.

Тот молчал.

– Уходишь, немчин?

– Зачиво больше ту?

– Бери талер, пришел – бери! И все же лжешь ты, черный дьявол!

– Нейт, лжа нейт, козак!

Немцы ушли.

Луна была такая яркая, что песок по узким улицам, белый днем, белым казался и ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь: воняло водкой, чесноком и таранью. Синие тени, иногда мутно-зеленые, лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня, рубленая из толстого

⁴⁰ Баньянами называли индусов.

⁴¹ Почернело лицо? (нем.)

дуба, навесом походила на могильные голубцы⁴², – похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы пошли медленно. Доктор сказал:

– Пришлось много спешить нам! Грозилась, устал я...

Кругом была тишина и безлюдье, только изредка были собаки, и где-то далеко-далеко в камышах голодно отзывался шакал.

Другой немец спросил:

– Почему, доктор, ты удержал истину? Старик явно отравлен.

– Мой друг, мы в сердце самой Скифии, а не в Европе... Заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить всевышнего Бога, что можем еще приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь...

Немцы говорили на гольштинском наречии.

– Какая прекрасная женщина находится при этом варваре! Ты посмотрел на нее, доктор?

– О да, у ней могучее тело и детское лицо. Могу засвидетельствовать: взгляд козака – необыкновенный, голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтоб не сказать ему. О, тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды... Я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников... Я намереваюсь с купцами поехать в Индию – страну браминов, целебных растений и великих чудес!

– Здесь глубокий песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык.

– Вы правы! Я думал об этом.

Немцы, неторопливо разговаривая, вошли в большую хату на площади – постоянное пристанище иностранных купцов.

5

В обширной хате в глубине атаманского двора устроились московские гости – боярин и три дьяка.

Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые половики, большая печь с палаткой и трубой; хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом и глубокий жараток набит пылающими углями. Окна затянуты тонко скобленным бычьим пузырем, свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону – открыть на воздух. Опасаясь жадных до государевых тайн ушей, боярин Пафнутий Киврин не открывал окон, но, распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром, достал дедовский медный, под золотом, складень с изображением многих праздников, примостил раскрытый складень в углу на столе и, приклеив перед ним восковую свечу, зажег ее лучиной.

Раньше чем стать на колени, перекреститься, проворчал:

– Образов мало, а чтут ся христианами... В церкви почасту войну решают...

И, держа пальцы в двуперстном сложении, крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не зашивал дверей в горенку, где жили дьяки, – он любил досматривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль, боярин размашистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал: «Здесь надо с людьмишкой иной потуг, ино сбегут в козаки, тайны наши разглаголют».

⁴² Г о л у б е ц – очень толстое дерево с кровлей, надгробный памятник.

Против дверей, в другой половине, дьяки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков с поливкой из красного перца, тут же насыпанная до краев сушеными шамайками – мелкими рыбами – плошка глазированная красной глины.

– Штоб их сатана взял, чубатых! Просил баранины, они же, тряса их бей, щусей нажали, – зычным басом сказал молодой дьяк в нанковом кафтане, длинноволосый и русский.

– Запри гортань, тише!.. Боярин на молитве. Лжешь. Зрико – тут леши да корюха сушена...

– Бузу всегда лопают, нам ублажают ее... Просил квасу – нет! Мне брюхо натянуло с бузы, как воеводский набат...⁴³

– Ой, Ефим! Станешь в ответ боярину... Ой, детина, мотри...

Ели дьяки руками, поевши, покрестились, вытерли руки о полы кафтанов. Два – борода-тых дьяка. Ефим – молодой, едва показывались усы.

Молились дьяки своим образам, – в хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления: неуклюжий казак в красной шапке, в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колот длинной пикой словившегося назад ляха в зеленом кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: «Бисов ляше у Богдана-батька пляше».

Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились, касаясь пальцами полу.

– Утомился, боярин? Просим отведать наше немудрое яство! Я объедки приберу, сменю скатерть и кликну, чтоб дали самолучших яств...

Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать.

Боярин остановил:

– Не вместно мне с вами – зван к атаману, а вот дух пустишь беспричинно... Клоп за тобой, детина, ездит, как за ханским послым вошь в кибитке.

Старшие дьяки стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шепотом: тогда бойся. Но боярин ровно и громко продолжал:

– Взят ты мной, Ефим, юнцом малым, книжному урядству обучен и чернилы приправ-лять, а ныне дозволение я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен, – клопа ведешь за собой...

– Прости, боярин...

На возражения дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился, что-то хотел сказать, но в воздухе за окном послышалось многоголосое пение, прогремело:

– Ура-а, бра-а-ты!

Вздрыгнула земля от залпа пушек.

Боярин побледнел:

– Что это? Ефим, беги проведай!

Бородатые дьяки бросились к окнам. Младший стоял спокойно.

– То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрету быют...

Боярин ожил:

– Вот за то и люблю тебя, Ефим, что знаешь все, что затевается у них... Ох, угарно, у меня голова что-то скомнет, на ветер ба ино ладно, да боюсь...

– Чего убоился, боярин?

– Ведь мы послы от государя, мног народ очи откроет, а народ – вор, злонравный народ! Отаманов своих мало слушает, так зло бы кое над нами не учинили!

– Страх мал, боярин! Турской посол, персикой и иные в их городишке почасту стоят, мы, как все, – обыкли они к послам, ей-бо!

⁴³ На бат – большой медный барабан.

– А, так? Я вот армяк накинута, и пойдем. Армяк хоша скорлатной, да покроем всего к месту ближе...

– Дай подмогу тебе, боярин!

Молодой дьяк вывернулся впереди боярина в его половину. Пожилые с завистью глядели вслед; когда боярин занялся платьем, один сказал:

– Обежит нас Ефимко! Боярина водит, как выжлеца⁴⁴ на ремне...

Другой так же чуть слышно ответил:

– То правда, Семенушко, обежал уж...

6

Боярин Пафнутый с дьяками неторопливо вышел за плетень атаманского двора...

Со сторка видно им реку, белую от солнечного света. На серебре струй московские гости увидали страшные им челны шарпальников: длинные, с длинными веслами, почерневшие от воды и порохового дыма, опутанные толстыми ребрами полос из прутьев камыша. В челнах люди – в бархате, золотой и серебряной парче, в коврах; в красных шапках – запорожцы, в бараньих – донцы.

– Сатанинское сборище...

Боярин, бодая песок посохом, двинулся вперед. Дьяки – за ним.

Толпа казаков выскакивала из челнов на пристань. На пристани другая толпа своих была в котлы-литавры, играла на трубах и дудках. Тут же с берега стреляли холостыми из длинных пушек на дубовых колесах. По серебристой воде ползли тучи дыма, пахнувшие порохом. Крики сотен голосов:

– Бра-а-ты з моря-а!

На бревенчатую пристань казаки из челнов вели пленных: мужчин, связанных и оборванных, с чужими бронзовыми лицами, в крови и царапинах; полуголых женщин в пестрых штанах. Женщин казаки вели несвязанными – за косы.

– Покупай, братья, ясырь! Всяка хрестится, жена будет!

Лица вернувшихся с моря – в черной крови, запекшихся шрамах, руки – тоже. Пестрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь.

– К Мыколы! Морскому святому молебен за живое вертание з моря...

– Кто пысьменный? Нехай тот и поп буде!

– А ну, хрестись!

– Гундосый, ты?

– Тарануха?! Казак, здоров? Дай пошупаю, – жив...

Люди, вырвавшись из зубов смерти, из холодной утробы моря, радостно, до ошаления, смеялись, кричали, пели. Не дослушав молебна у часовни, растекались по улицам, лезли в шинки, ели. Кричали:

– Гей, крамарки⁴⁵, подавай бузу, тарань, шамайку!..

Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойко продавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидали будку, закрытую дубовыми бревнами с трех сторон, открытую с четвертой, закиданную камышовой крышей с дерном. В ней на ярком солнцепеке на обрубе дерева сидел, весь коричневый и рваный, в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке-зипуне, запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинжалом скоблил ядреную голову казака, поливая ее из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полуаршинную

⁴⁴ Вы ж л е ц – собака-ищейка.

⁴⁵ К р а м а р к и – торговки.

бритву о точило, стоящее на земле, помачивал точило той же водой, из горшка и правил кинжал о голенище сапога.

Запорожец, когда цирюльник с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую, начинал скоблить его голову, жмурясь от солнца, кричал:

– Эге, добре! Брий, хлопец, гладенько, не зрижь тильки оселедця. Гоздек⁴⁶ у запорожцев не живет, живет гоздек у донцов, – воны волосы рошат, запорозци усы мают, бород им не треба! То московитска краса... Запорозцу бороду не можно носить, то яйцки козаки носят, воны тож московитски данныки.

Иногда соскакивал с головы ляпак кожи, поцарапанное во многих местах бритьем скуластое лицо цирюльника хмурилось, он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывая с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цирюльника:

– Плюй, хлопец, и посыпь земли! То не кровь, яка то кровь? Запорожска шапка красна – пид ей крови не видно!

Боярин сказал:

– Дьяче, все надо досмотреть и дослышать... – Он отошел от ларя цирюльника, встал в другом месте.

«Засвежи его, сатану!» – сказал про себя молодой дьяк, глядя на работу брадобрея, но, вскинув глаза, увидел, что боярин и два дьяка впереди, пошел к ним.

Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов ковры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах:

– Наспускали мы им, братья, нехристям, бревен, колотят тьи бревна о цепи, – бурун метет волны... мы ж в камышах ждем!

– Стой, Лаврей, не то!.. Дай я скажу: тьма, ветер голову с плеч рвет, а турчин знай дует по бревнам з пушек! Бревна тай лезут на цепи, кидает их, цепи брежчат, аж в аду, а турчин воет: «Алла! Алла! Бузы-джи!» Ого, бусурман, и тебе на берегу лед? Да так и отсиделись в камышах. А как они иззябли да палить утихли – мы скок в море. Бей мухаммедан!

С саблей, усатый, в синем нарядном кафтане, подошел атаманский писарь.

– И все вы, братья, тут проскочили мимо Азова?

– Не, козак! Иные переволоклись в Миюс с Донца, Миюсом – в море, да и к нам тож пристали.

Толпа прибывала, теснилась; слушали, расспрашивали вновь. Удальцы, чтоб наконец отвязаться, обратились к писарю:

– А ну, пысьменный, кажи ты, что знаешь...

– Чого ему знать? Он у Корнея, у круга сидит!

– Буду я вам, козаки-братья, честь, как запорожской атаман Серко судил с салтаном...

– Эге, добре!

– То послушаем! На бочку, ставай на бочку...

Прикатали бочку, доску поперек дна кинули, подняли писаря:

– Чти-и!

Человек в синем поправил шапку, саблю одернул, вытащил из-за пазухи пачку бумаг, посплюнув палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки:

– А ну, не бодайтесь!

Бумагу, которую читать, бережно и медленно развернул, прочел громко: «Кошевой атаман Серко крымскому хану Мураду».

– Эй, чего чтешь? Чти к салтану турскому!

– А ту, к турскому салтану, бумагу я, козаки-братья, в станичной избе заронил, не сыщу! От многих рук, вскинутых вверх, по белому песку замотались голубые и синие тени.

⁴⁶ Г о з д е к – колтун.

– А нехай ее чертяка зыист!

– Чти коли крымскому.

– Ну, козаки, чту. «Братья наши запорожцы, с вождем своим воюючи на човнах по Евк-сипонту, кос-ну-ли-сь му-же-ствен-но и самых стен константинопольских и оные довольно окуривали дымом мушкетным при великом султанове. И всем мешканцам⁴⁷ цареградски-им сотворили страх и смя-те-ние и некоторые одле-глейшие⁴⁸ селения константинопольские, запаливши толь счастливо, з многими добычами до коша своего повергнули».

– То Нечай с Бурляем – запорожцы – хорошо привитались с турчином!

– И мы нынь его не забуваем!

Боярин сказал:

– Примечайте, дьяче: шарпальникам государев запрет ништо, приказано им турчина не злить...

Толпа, потная, пьяная, лезла слушать, надеясь, что писарь будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи. В глубоком небе чуть заметно, как муха на голубом высоком потолке, стоял над толпой какой-то воздушный хищник.

– Куркуль реет!

– Где? Не вижу. Эге, высоко!

– Высоко, бисова шкода!..

Писарь слез с бочки, казаки с моря кричали:

– Ты, пысьменный, пошто Дону служишь?..

– Служи Запорожью!

– Запорожцы никому не продались! Низовики продались московскому царю.

– А бо-дай вона выздыхала, царьская Московия, и с царем и з родом его!

– «С турчином греха не заводить, ждать указу», ведь так, боярин, писано государем и великим князем? – спросил один дьяк.

Боярин, гневно тыча в песок посохом, водя по толпе глазами, сказал шепотом:

– Разбойники позорят поносным словом имя государево, – негоже нам быть тут!

Москвичи двинулись дальше.

7

На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым, из бревен, гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими створчатыми дверьми с железными кольцами – темный образ святого. Иван Воин изображен вполуоборот, в мутно-желтых латах, опоясан узким кушаком, на кушаке недлинный меч в темных ножнах, под латами красные штаны, сапоги, похожие на чулки, желтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест, и вид у него как будто к чему-то прислушивается. В углу на клочках облаков какие-то лики...

Казаки входят и выходят из церкви, поворачиваются и на дверь крестятся. Ставят свечи тем святым, которые, по их понятиям, лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви «светилку». В церкви два попа, присланные Москвою; каждый из попов привез по образу, писанному московскими царскими иконниками. Казаки обходят привезенные образа, ворчат:

– Не нашего письма образы... Христы на воевод схожи – румяны и толсты.

Про попов шутят:

⁴⁷ Мешканцы – обыватели.

⁴⁸ О д л е г л е й ш и е – окружные.

– Древние. Поп попа водит и по пути спрашивает: «Як тебе имя, Иване?» – и до сих пор попы не ведают, кого кличут «Иване», а кого «Петр».

Читать попы не видят – службу ведут на память, вместо «аллилуия» часто произносят «аминь»... Казаки редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины: объявляют имя жениха и невесты на майдане, строят для того помост, жених берет свидетелей за себя и за невесту.

Боярин с дьяками проталкивались на площадь к церкви. Не доходя площади – ряд торговых ларей и шинков-сараев. Москвичи, подойдя к ларям, рассматривая товары, приостановились: перед одним ларем ходил взад-вперед бородатый перс в широком кафтане из верблюжьей, крашенной в кирпичный цвет шерсти, в коротких, до колен такого же цвета штанах, с голыми ногами в башмаках на босу ногу, кричал, как гусь:

– Зер – барф! Зер – барф!⁴⁹

Идя обратно, взывал тем же голосом:

– Золот – парш⁵⁰, золот – парш!

– Эй, соленой!

– Он не грек – баньян, мултанея.

– Не, пошто? У тех по носу мазано желтым и в белой чалме, а этот в синей, да все одно. Эй, почем парш, чесотку продаешь?

В глубине ларя сидел другой перс – видимо, хозяин, в халате из золотой с красными разводами парчи, в голубой, вышитой золотом чалме, – ел липкие сласти, таская их руками из мешка в рот; черная с блеском борода перса была густо облеплена крошками лакомств.

Когда с зазывающим покупателей персом разговаривали, он улыбался, махал руками, кричал громче первого:

– Хороши парча! Хороши, дай менгун⁵¹, козак!

Боярин подошел к ларю, подкинул вывешенные светлые полотнища на руке, сказал:

– Добрая парча! Надо зайти купить... На Москву такой не везут...

Прошли, почти не взглянув на лари с синей одамашкой-камкой⁵², коротко постояли у ларя с бархатами: бурскими, литовскими и веницейскими.

– Бархаты продают, разбойники, не в пример лучше московских: цвет рудо-желтой, золотным лоском отливает...

Дальше и в стороне – ларь с сараем. Сквозь редкие бревна сарая из щелей сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь вплотную подходил к сараю. В сарай из открытого ларя – дощатая дверь, завешенная наполовину персидским ковром; по сторонам ларя – ковры удивительно тонких узоров. Боярин развел руками и чуть не уронил свой посох с золоченым набалдашником:

– Диво! Вот так диво! Этаких ковров не зрел от роду моего, а живу на свете довольно...

В ларе два горбоносых, высоких: один в черной шапке с меховым верхом, другой в черной мохнатой; из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками; оба в вывернутых шерстью наружу бараньих шубах.

– Кизылбашцы⁵³, нехристи, – проговорил Ефим.

Боярин оборвал дьяка:

– Холоп! Спуста не суди: кизылбашцы – те, что парчой торг ведут, эти, думно мне, лязгины!..

⁴⁹ З е р – золото; б а р ф – ткань.

⁵⁰ П а р ш – парча.

⁵¹ М е н г у н – деньги.

⁵² Камка из Дамаск

⁵³ К и з ы л б а ш ц ы – персияне.

Один из горбоносых, выпустив изо рта мундштук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал:

– Камэнуэмэ, арнэлахчик! Мэ тхга март! Цахумэнк халичаннер Хоросаниц ев-Парсканц Фараганиц!

Снова бойко и хищно схватил черной лапой с острыми ногтями чубук кальяна и с шипением, бульканьем начал тянуть табак.

– Сатана его поймет! Сосет кишку, едино что из жил кровь тянет... Ей-бо, глянь, боярин, со Страшного суда черт и лает по-адскому! – вскричал Ефим.

– Запри гортань! Постоим – пойдем, – упрямо остановился боярин.

Другой горбоносый закричал по-русски:

– Господарь, желаете ли купить девочку или мальчика?.. Еще продаем ковры из Хоросана и Персии – Фарагана⁵⁴.

Первый горбоносый опять крикнул, коверкая русские слова.

– Сами дишови наши товар! – кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова. Тонкий, сухой, с желтым лицом. Бараний балахон на нем мотался, и когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатыми ножнами длинный кинжал.

Боярин подошел, потрогал один ковер.

– Хорош ковер – фараганский дело! – сказал тот, что кричал по-русски.

Стали торговаться. Дьяки молча выжидали; только Ефим увивался около – гладил ковры, прикладывался к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковер, черный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил, шлепая по ковру коричневой рукой:

– Господарь, купи девочка... терская, гибкая, ца! – Он щелкнул языком. – Будит плясать, бубен бить, играть птица – не девочка, ца! Летает – не пляшет...

Боярин молча махнул рукой одному из бородатых дьяков, передал ковер:

– Неси, Семен, ко мне!

Дьяк принял ковер.

– Дьяки, идем дале!

Дьяки поклонились и двинулись за боярином. Ефим подошел к боярину ближе, заговорил быстро:

– Глядел ли, боярин, на того, что по-нашему не лопочет?

– Что ты усмотрел?

– Видал я, боярин, у него под шубой экой чинжалище-аршин, – видно, что разбойник, черт! Продаст да догонит, зарежет и... снова продаст!

– Ну, уж ты! Сходно продают... На Москве таких ковров и за такие деньги во сне не увидишь...

– Им что, как у чубатых, – все грабленное... Видал ли, колько в сарае мальчишек и девок малых: все щели глазами, как воробьями, утыканы!

– Да, народ таки разбойник! – согласился боярин и прибавил: – А торгуют сходно...

Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи тыкались в лицо на лету, – в этих рядах продавали съедобное.

Бурые вепри, оскалив страшные клыки, висели на солнпеке несниманные, они подвешены около ларей веревками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убоины. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные, с широко разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над рогожей-фартуком кровавыми руками:

⁵⁴ Перевод того, что кричал первый армянин по-армянски. Ф а р а г а н – Фергана.

– Кому жеребчика степного? Холку, голову, весь озадок? Смачно жарить с перцем, с чесноком – объяденье!

– Ты, кунак, махан⁵⁵ ел?

– Ел, – бойко отвечает мясник, – и тебе, козак, не запрешу: степная жеребятина мягче теленка. Купи барана, вепря – тоже есть.

– А ну кажи барана! Пса не дай...

– Пса ловить не время, пес без рог... Баран вот!

– Сытой, нет? Ага!

– Нехристи! Жрут, как татарва: коня – так коня, и гадов всяких с червью купят, тьфу! – Боярин плюнул, нахмурился; говоря, он понизил голос.

Дьяки, побаиваясь его гнева, отстали.

Старик, постукивая по камням, пыля песок посохом, шел, спешно убегая от вида и запахов рынка.

– Идет не ладно, а сказать – озлится!

Молодой дьяк ответил бородатому:

– Пушай...

– Озлится! К гневному не приступишь, мотри...

Боярин разошелся в шинки: дубовые сараи распахнуты, из дверей и с задов несет густой вонью – водки, соленой рыбы и навоза. Здесь едко пахнет гнилым, моченным в воде льном.

Старик чихнул, полой кафтана обтер бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился, повернул к дьякам.

Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил:

– Крепко у нас на Москве, боярин, эким по задам торгуют, чубатые еще крепче, мекаю я?

– Занес, сатана! К церкви идем, а куды разбрелись? Водчий пес! Где – так востер, тут вот глаз туп.

– Церковь у них древняя, боярин, развалится скоро. Наши им нову кладут, да они, вишь, любят свое – так тут, подпирать чтоб, столбы к ней лепят.

– Кабы на Москве о церкви такое молвил – свинцу в глотку: не богохуль на веру... Я ужю тебе!..

Дьяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дьяк, сняв шапку, заговорил жалостливо:

– Прости, боярин! Много от ихней бузы брюхом маюсь, ино в голове потуг и пустое на язык лезет.

– Ну и ладно! Тому верю... Только не от бузы брюхо дует – от яства: брашно у разбойников с перцем, с коренем, а пуще того – неведомо, кого спекли: чистое ли? Ты, дьяк, ужю с опаской подсмотри за ними...

– Чую, боярин. Дай буду путь править вот этим межутком – и у церкви.

Старик, боясь опередить дьяка, шел, боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие, цвета бронзы, руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей, как на пожаре, слышались голоса:

– Рони, братья, в мошну шинкаря менгун!

– Пей! На Волге тай на море горы золота-а!

– Московички насады да бусы⁵⁶ дадут одежи тай хлеба-а!

– Гнездо шарпальников! – шипел боярин.

⁵⁵ М а х а н – конина.

⁵⁶ Б у с ы – большие долбленные лодки.

8

На площади собрались казаки и казачки, мужики в лаптях, в широких штанах и белых рубахах, – к церкви скоро не пройдешь.

Недалеко от церкви возведено возвышение, две старые казачки бойко постилают на возвышении синюю ткань и забрасывают лестницу плахтами ярких цветов.

Боярин тихо приказал:

– Проведай, Ефим, кому тут плаха?

Дьяк от шутки господина с веселым лицом полез в толпу: вернувшись, сообщил:

– Женятся, боярин! Шарпальники московских попов не любят и крутятся к лавке лицом за по гузну дубцом...

– То забавляешь ты! А как по ихнему уставу?

– Стоят, народу поклоны бьют, потом невесту бьют!

– Ты сказывай правду!

– А вот их ведут! Проберемся ближе, узрим, услышим, не спуста мы – уши да око государево...

– Держи язык, кто мы! Крамари мы... Не напрасно разбойник тако величал нас...

– Ближе еще, боярин, – вон молодые...

На возвышение с образом в руках, прикрытым полотенцем, в синем новом кафтане, без шапки вошел черноволосый Фрол Разин. Следом за ним два видока⁵⁷, держа за руки один – жениха, другой – невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошел вглубь, не кланаясь. Видоки каждый на свою сторону отошли, встали на передних углах возвышения.

Жених взял невесту за руку, еще оба поклонились народу.

На Степане Разине – белый атласный кафтан с перехватом, по перехвату – кушак голубой шелковый, на кушаке – короткий кривой нож в серебряных ножнах с ручкой из рыбьего зуба. На голове – красная шапка с узкой меховой оторочкой. Черные кудри выбивались из-под шапки.

Невеста – в коричневом платье, на голове – синяя прозрачная повязка: повязка спускалась сзади, ею были перевиты русые косы.

– Шарпаной на ем кафтан, боярин, московской, становой, виранной жемчугами, – зашептал Ефим.

– Пошто толкуешь спуста! Али я покроев кафтана не знаю?

Другой дьяк шепнул:

– Чуют нас, бойтесь...

– Еще дурак, – сказал старик, – ништо кому сказываем. – Он все же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: – Палача бы сюда! Помост налажен, и сидению нашему конец!

Ефим начал громко смеяться.

⁵⁷ В и д о к и – свидетели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.